

Ананке

Что-то вытолкнуло его из сна – во тьму. Остались позади (где?) багровые, задымленные контуры (город? пожар?), противник, погоня, попытки отвалить скалу – скалу, которая была этим (человеком?). Пиркс безуспешно пытался догнать ускользающие воспоминания; как всегда в такие минуты, он подумал, что в снах нам дается жизнь более интенсивная и естественная, чем наяву; она освобождена от слов и при всей своей непредвидимой причудливости подчиняется законам, которые кажутся бесспорными – но лишь там, во сне.

Он не знал, где находится, он ничего не помнил. Достаточно было рукой шевельнуть, чтобы выяснить, но он злился на бессилие своей памяти и подхлестывал ее, добиваясь сведений. Он сам себя обманывал: лежал-то вроде неподвижно, а все же пытался по фактуре постели отгадать, где находится. Во всяком случае, это не была корабельная койка. И вдруг – будто вспышка все озарила: посадка; пламя в пустыне; диск луны, словно бы поддельной, слишком большой; кратеры – в пылевых заносах; грязно-рыжие струи песчаной бури; квадрат космодрома, башни.

Марс.

Он лежал, теперь уже вполне по-деловому стараясь сообразить, что его разбудило. Пиркс доверял своему телу; оно не проснулось бы без причины. Правда, посадка была довольно трудная, а он порядком устал после двух вахт подряд, без передышки: Терман сломал руку – когда автоматы включили тягу, его бросило о стену. После одиннадцати лет космических полетов так шлепнуться при переходе к весомости – ну и осел! Надо будет навестить его в госпитале... Из-за этого, что ли?..
Нет.

Пиркс начал теперь поочередно припоминать события вчерашнего дня с момента посадки. Садись в бурю. Атмосферы тут всего ничего, но когда ветер – двести шестьдесят километров в час, тут прямо на ногах не устоишь при таком ничтожном давлении. Подошвы ничуть не трутся о грунт; при ходьбе надо зарываться ногами поглубже в песок – увязая по щиколотку, приобретаешь устойчивость. И эта пыль, что с леденящим шорохом скребется по скафандру, забивается в любую складку... она не очень-то красная и даже не рыжая – обыкновенный песок, только мелкий: за несколько миллиардов лет успел перемолотиться.

Капитаната здесь не было – ведь не было и нормального космопорта. Проект «Марс» на втором году своего существования все еще держался в основном на временках; что ни построй, все песком засыплет; ни гостиницы здесь, ни общежития хотя бы, ничего. Надувные купола, огромные, величиной с десяток ангаров каждый, – под сверкающим зонтиком стальных тросов, заякоренных на бетонных колодах, еле заметных среди дюн. Бараки, гофрированная жесть, груды, кипы, штабеля ящиков, контейнеров, резервуаров, бутылей, связок, мешков – целый городок из грузов, что сваливаются сюда с лент транспортеров. Единственным вполне приличным помещением, налаженным, прибранным, была диспетчерская – она находилась вне «зонтика», за две мили от космодрома; здесь Пиркс и лежал сейчас, в постели дежурного контролера Сейна.

Он сел на кровати и босой ногой нащупал комнатные туфли. Он всегда возил их с собой и

всегда раздевался на ночь; если утром не удавалось как следует побриться и умыться, он чувствовал себя не в форме. Он не помнил, как выглядит комната, и на всякий случай выпрямлялся осторожно; чего доброго, башку расшибешь при здешней экономии на материалах (весь Проект по швам трещал от этой самой экономии; Пиркс кое-что знал об этом). Тут он снова рассердился на себя за то, что забыл, где находятся выключатели. Как слепая крыса... Пошарил по стене – вместо выключателя нащупал холодный рычажок. Дернул.

Что-то тихо шелкнуло, и со слабым скрежетом раскрылась ирисовая диафрагма окна. Начинаясь тягостный, смутный, пропыленный рассвет. Стоя у окна, похожего скорее на корабельный иллюминатор, Пиркс потрогал щетину на подбородке, поморщился и вздохнул: все было как-то но так, хотя, в сущности, непонятно почему. Впрочем, если б он подумал над этим, то, может, признался бы, что понятно. Он терпеть не мог Марса.

Это было его сугубо личное дело; никто об этом не знал, да никого это и не касалось. Марс, по мнению Пиркса, был олицетворением утраченных иллюзий, мечтаний развенчанных, осмеянных, но близких сердцу. Он предпочел бы летать на любой другой трассе. Писанину о романтике Проекта Пиркс считал сплошной чепухой, перспективы колонизации – фикцией. Да, Марс обманул всех; он обманывал всех уже второе столетие. Каналы. Одно из самых прекрасных, самых необычайных приключений в истории астрономии. Планета ржаво-красная: пустыни. Белые шапки полярных снегов: последние запасы воды. Словно алмазом по стеклу прочерченная, тонкая, геометрически правильная сетка от полюсов до экватора: свидетельство борьбы разума против угрожающей гибели, мощная ирригационная система, питающая влагой миллионы гектаров пустыни, – ну конечно, ведь с приходом весны окраска пустыни менялась, темнела от пробужденной растительности, и притом именно так, как следует, – от полюсов к экватору. Что за чушь! Не было и следа каналов. Растительность? Тайнственные мхи, лишайники, надежно защищенные от морозов и бурь? Ничего подобного; всего лишь полимеризованные высшие окиси углерода покрывают поверхность планеты – и улетучиваются, когда ужасающий холод сменяется холодом только ужасным. Снеговые шапки? Обычный затвердевший CO₂. Ни воды, ни кислорода, ни жизни – растрескавшиеся кратеры, изъеденные пыльными бурями скалы, унылые равнины, мертвый, плоский, бурый ландшафт под бледным, серовато-ржавым небом. Ни облаков, ни туч – какая-то неясная мглистость; по-настоящему темнеет лишь при сильных ураганах. Зато атмосферного электричества – до черта и сверх того...

Что это? Сигнал какой-то подавали? Нет, это пение ветра в стальных тросах ближайшего «пузыря». В тусклом свете (песок, несомый ветром, быстро справлялся даже с самым твердым стеклом, а уж пластиковые жилые купола сразу помутнели, как бельма) Пиркс включил лампочку над умывальником и начал бриться. Пока он кривил лицо на все лады, ему пришла в голову до того глупая фраза, что он невольно усмехнулся: «Марс – просто свинья».

Однако это и вправду свинство – столько надежд на него возлагалось и так он их обманул! По традиции... но кто ее, собственно, установил? Никто в отдельности. Никто не выдумал этого сам; у этой концепции не было авторов, как нет авторов у легенд и поверий; значит, из общих, что ли, вымыслов (чьих? астрономов? мифов созерцателей) возникло такое предоставление. Белая Венера, звезда утренняя и вечерняя;

укутанная плотной облачной пеленой, – это планета молодая, там повсюду джунгли, да ящеры, да вулканы в океанах; одним словом – это прошлое нашей Земли. А Марс – высыхающий, заржавевший; там полным-полно песчаных бурь и удивительных загадок (каналы нередко раздваивались, канал-близнец возникал за одну ночь! И ведь масса усердных, бдительных астрономов подтверждала это!); Марс, чья цивилизация героически борется против угасания жизни на планете, – это будущее Земли. Все просто, ясно, четко, понятно. Только вот неверно все – от А до Я.

Под ухом торчали три волоска, которых не брала электробритва; но обычная безопасная бритва осталась на корабле, и он начал подбираться к волоскам то так, то этак. Ничего не получалось.

Марс. Эти астрономы-наблюдатели все же обладали буйной фантазией. К примеру, Скиапарелли. Какими неслыханными именами он – вместе со своим заклятым врагом Антониади – окрестил то, чего не видел, что ему только казалось! Хотя бы эту местность, где строится Проект: Агатодемон. Демон – это понятно, а Агато? Может, от агата – потому что черный? Или это от «агатон» – мудрость? Космонавтов не обучают древнегреческому; жаль. Пиркс питал слабость к старым учебникам звездной и планетарной астрономии. Какая трогательная уверенность в себе: в 1913 году они утверждали, что из космического пространства Земля кажется красноватой, ибо ее атмосфера поглощает голубую часть спектра и, естественно, то, что остается, должно быть по меньшей мере розовым. Прямо пальцем в небо! А все же, когда разглядываешь эти великолепные карты Скиапарелли, просто в голове не укладывается, что он видел несуществующее. И, что самое странное, другие, после него, тоже это видели. Это был какой-то психологический феномен; впоследствии он никого уже не интересовал. Сначала в любой книге о Марсе восемьдесят процентов текста отводилось на топографию и топологию каналов; ну, а во второй половине XX века нашелся астроном, который проделал статистический анализ сети марсианских каналов и обнаружил ее сходство, именно топологическое, с сетью железных дорог, то есть коммуникаций, в отличие от естественных трещин или водных артерий. После этого словно кто снял чары; от каналов отделялись одной фразой: «Оптическая иллюзия» – и точка.

Пиркс вычистил электробритву, стоя у окна, спрятал ее в футляр и еще раз поглядел, уже с откровенной неприязнью, на этот самый Агатодемон, на загадочный «канал» – унылую плоскую местность с невысокими каменистыми буграми кое-где у туманного горизонта. Луна по сравнению с Марсом кажется просто уютной. Конечно, для того, кто ни шагу с Земли не сделал, это прозвучит дико, однако же это чистейшая правда. Прежде всего – Солнце на Луне выглядит точь-в-точь так же, как на Земле, а до чего это важно, знает каждый, кто изумлялся, или, вернее, пугался, увидев вместо Солнца крохотный, блеклый, еле теплый огонек. К тому же великолепная голубая Земля, словно лампа – символ безопасного бытия, примета жилого дома, – так славно освещает лунные ночи, в то время как Фобос и Деймос дают света меньше, чем Луна в первой четверти на Земле. Ну, и вдобавок – тишина. Высокий вакуум, спокойный; ведь не случайно же удалось показать по телевидению прилунение, первый этап проекта «Аполлон», а о телепередаче, скажем, с гималайской вершины даже и думать нечего. Что означает для человека никогда не утихающий ветер, можно до конца понять только на Марсе.

Он посмотрел на часы: свежеприобретенная штучка с пятью concentрическими циферблатами показывает стандартное земное время, а кроме того, время корабельное и планетарное. Было шесть с минутами.

«Завтра в это время я буду за четыре миллиона километров отсюда», – подумал Пиркс не без удовольствия. Он состоял членом «Клуба Перевозчиков», кормильцев Проекта, но дни его службы были сочтены: на трассу Земля – Марс вышли эти новые гигантские корабли «Ариэль», «Арес» и «Анабис», у которых масса покоя около 100.000 тонн. Они шли к Марсу уже около двух недель; через два часа прибудет «Ариэль». Пиркс никогда еще не видел посадки стотысячника, да на Земле им и нельзя было садиться; их принимали на Луне – экономисты подсчитали, что это окупится. Корабли вроде Пирксова «Кювье» (масса покоя 12-15 тысяч тонн) теперь, безусловно, сойдут со сцены. Так, разве мелочи какие-нибудь время от времени будут перевозить.

Было шесть двадцать, и человеку здравомыслящему в это время полагалось бы поесть чего-нибудь горяченького. Мысль о кофе тоже вдохновляла. Но где здесь можно подкрепиться. Пиркс не знал. Он впервые попал на Агатодемон; до тех пор он обслуживал главный плацдарм на Сырте. Почему атаку на Марс вели одновременно в двух пунктах, разделенных дюжиной тысяч миль? Научные обоснования Пирксу были известны, но он держался своего мнения; впрочем, он не афишировал этот свой скептицизм. Большой Сырт предназначался для термоядерного, а также интеллектронного полигона. Он и выглядел совсем иначе. Некоторые утверждали, что Агатодемон – это Золушка Проекта и что его не раз уже собирались ликвидировать, но пока все еще питают надежды на эту самую замерзшую воду, на гигантские ледники древних эпох, именно здесь где-то залегающие под спекшимся грунтом. Конечно, если бы Проект докопался до местной воды, это было бы подлинным триумфом – ведь пока что каждую каплю возили с Земли, а устройства, которые должны вылавливать водяные пары из атмосферы, второй год доделывали да налаживали, и срок запуска все передвигался.

Нет, Марс определенно не имел ничего привлекательного для Пиркса.

В здании было так тихо, словно все куда-то ушли или умерли, и все же Пирксу не хотелось выходить из комнаты. Не хотелось в основном потому, что он постепенно все больше привыкал к одиночеству.

Командир корабля может весь рейс провести одиноко, отъединение от всех, если ему вздумается, – и в одиночестве Пиркс чувствовал себя лучше; после дальнего рейса (сейчас, когда противостояние окончилось, полет к Марсу продолжался более трех месяцев) ему приходилось делать над собой усилие, чтобы сразу и просто войти в скопище чужих людей. А тут он не знал никого, кроме дежурного контролера. Можно пойти к нему на второй этаж, но это будет не слишком тактично. Не годится попусту беспокоить человека, когда он несет вахту. Пиркс судил по себе: он по любил таких незваных гостей.

Пиркс достал из чемоданчика термос с остатками кофе и пачку печенья. Ел, стараясь не насорить, пил и смотрел сквозь исцарапанное песчинками стекло круглого окошка на древнюю и словно бы смертельно усталую равнину Агатодемона. Именно такое

впечатление производил на него Марс: что ему уже все равно. Поэтому так странно теснятся тут друг к другу кратеры, непохожие на лунные, будто бы размытые («Словно поддельные!» – вырвалось у Пиркса однажды при виде хороших, больших фотографий Марса); поэтому так нелепо выглядят «хаосы» – марсианские местности с причудливым, стихийно исковерканным ландшафтом (их обожают ареологи, ибо на Земле нет ничего похожего на такие формация). Марс будто бы смирился с судьбой и уже не заботится ни о том, чтобы выполнять свои обещания, ни о том, чтобы хоть видимость соблюсти. Когда приближаешься к нему, он понемногу теряет свой солидный красноватый облик, перестает быть эмблемой бога войны, становится грязно-бурым, с пятнами, с затеками; четких очертаний, как на Земле или на Луне, здесь не встретишь – все размазано, все ржаво-серое, и вечно дует ветер.

Пиркс ощущал под ногами тончайшую вибрацию – это работал преобразователь или трансформатор. А вообще было по-прежнему тихо, и лишь время от времени врывалось в эту тишину отдаленное, словно с того света, завывание ветра в тросах-креплениях жилого купола. Этот чертов песок постепенно расправлялся даже с двухдюймовыми тросами из высокосортной стали. На Луне можно любую вещь оставить, положить на камень и вернуться через сто, через миллион лет со спокойной уверенностью, что она лежит целехонькая. На Марсе ничего нельзя выпустить из рук – сразу исчезнет без следа.

В шесть сорок покраснелся краешек горизонта – всходило Солнце. И это красноватое световое пятно (без всякой зари, где там!) внезапно воскресило недавний сон. Теперь Пиркс уже вспомнил, в чем было дело. Кто-то хотел его убить, но Пиркс сам убил своего врага. Убитый гнался за ним в красноватом сумраке; Пиркс убивал его еще несколько раз, но это ничуть не помогало. Идиотизм, конечно. Однако было в этом сне еще вот что: Пиркс был почти абсолютно уверен, что во сне он знал этого человека, а теперь он понятия не имел, с кем так отчаянно сражался. Конечно, это ощущение знакомости тоже могло порождаться сонной иллюзией... Он попробовал докопаться до этого, но своевольная память снова замолкла, все убралось обратно, как улитка в скорлупу, и Пиркс долго стоял у окна, упираясь рукой в стальную окантовку, слегка взволнованный, словно речь шла о бог знает каком важном деле.

Смерть. Вполне понятно, что по мере развития космонавтики земляне начали умирать на других планетах. Луна оказалась лояльной к мертвецам. Трупы на ней каменеют, превращаются в ледяные статуи, в мумии; почти невесомая легкость делает их нереальными и словно бы уменьшает значение катастрофы. А на Марсе о мертвецах надо заботиться немедленно, потому что песчаные смерчи за несколько суток разъедят любой скафандр и, прежде чем сухой зной успеет мумифицировать останки, из лохмотьев выглянут кости, отполированные, испуленно отшлифованные, обнажится скелет и, рассыпаясь понемногу в этом чужом песке, под этим грязно-бурым чужим небом, будет восприниматься как укор совести, почти как оскорбление, словно люди, привезя с собой на ракетах вместе с жизнью и свою подверженность смерти, совершили какую-то бестактность, нечто такое, чего следует стыдиться, что надо скрыть, убрать, похоронить... Все это, конечно, не имело никакого смысла, но таковы были ощущения Пиркса в этот момент.

В семь часов кончалась ночная вахта на постах летного контроля, а во время смены может

присутствовать и посторонний человек. Пиркс уложил свои вещи в чемоданчик – их было немного – и вышел, держа в памяти, что надо проверить, по графику ли идет разгрузка «Кювье». К полудню корабль должен уже освободиться от всех своих грузов, а перед отлетом кое-какие мелочи не мешает проверить, например систему охлаждения вспомогательного реактора, тем более что возвращаться придется с неполным составом команды. Получить кого-нибудь взамен Термана – об этом и говорить нечего.

По винтовой лестнице, выстланной пенопластом, чувствуя под ладонью странно теплые, словно нагретые перила, Пиркс поднялся на первый этаж, и все вокруг резко изменилось; он и сам словно стал кем-то другим, как только открыл широкую дверь с матовыми стеклами.

Помещение походило на внутренность гигантского черепа с тремя парами огромных выпуклых стеклянных глаз, вытарашенных на три стороны света. Только на три – за четвертой стеной находились антенны, но все это помещение могло вращаться вокруг оси, как поворотный круг на сцене. В известном смысле это и была сцена, на которой разыгрывались все одни и те же спектакли – посадки и старты кораблей; из-за своих широких округлых пультов, словно сливавшихся с серебристо-серыми стенами зала, дежурные видели стартовую полосу как на ладони – до нее был всего лишь километр.

Все это напоминало отчасти диспетчерскую вышку на аэродроме, а отчасти – операционный зал. У глухой стены под конусообразным прикрытием громоздился главный компьютер непосредственной связи с кораблями; он непрерывно мигал лампочками и стрекотал, ведя свои немые монологи и выплевывая обрывки перфорированных лент; были тут еще три резервных контрольных поста, оборудованные микрофонами, точечными лампами, креслами на шаровых шарнирах, а также подручные счетные устройства для контролеров, похожие на уличные водоразборные колонки; наконец, ютился у стены маленький, изящный, как игрушка, бар с тихонько шипящим «Экспрессом». Вот он где, оказывается, кофейный источник!

Своего «Кювье» Пиркс не мог отсюда разглядеть; он посадил корабль там, где приказал диспетчер, – тремя милями дальше, за пределами площадки: здесь так готовились к приему первого тяжелого корабля, словно и не был оборудован новейшими астролокационными автоматами, которые, как хвастали конструкторы (Пиркс почти всех их знал), могли посадить эту громадину в полкилометра высотой, эту железную гору на площадку размером с огородную делянку.

Все работники космопорта, все три смены пришли на это торжество, которое, впрочем, с официальной точки зрения никаким торжеством не являлось: «Ариэль», как и другие корабли этого типа, совершил уже десятки пробных полетов и посадок на Луне; правда, он еще ни разу не входил на полной тяге в атмосферу.

До посадки оставалось меньше получаса; поэтому Пиркс поздоровался только с теми, кто не нес вахты, и пожал руку Сейну. Радарные приемники уже работали, по телевизионным экранам сверху вниз проползали размытые полосы, но огоньки на пульте сближения еще сияли чистой зеленью в знак того, что времени осталось много и ничего пока не происходит. Романи, руководитель базы Агатодемона, предложил Пирксу рюмочку коньяку к кофе; Пиркс заколебался, но, в конце-то концов,

он присутствовал здесь абсолютно неофициально и, хотя не имел привычки пить с утра, понимал, что людям хочется символически подчеркнуть торжественность момента. Как-никак, этих тяжелых кораблей ждали уже давно; с их прибытием руководство сразу избавлялось от массы хлопот – ведь все время перевозчики вроде Пиркса всячески старались оборачиваться на линии Марс – Земля как можно быстрее и эффективней и все же никак не могли насытить прожорливый Проект. А теперь вдобавок противостояние кончилось, планеты начали расходиться, расстояние между ними будет увеличиваться из года в год, пока не достигнет ужасающего максимума в сотни миллионов километров; но именно сейчас, в самую трудную пору, Проект получил мощную поддержку.

Люди разговаривали вполголоса, а когда погасли зеленые огоньки и зажужжали зуммеры, все сразу замолчали.

День начинался истинно марсианский – ни хмурый, ни ясный; но было ни четко различимого горизонта, ни четко видимого неба, и словно бы не существовало времени, поддающегося определению и подсчету. Хотя день наступил, по граням бетонных квадратов, распластавшихся в центре Агатодемона, побежали светящиеся линии, зажглись автоматические лазерные метки, а края центрального круглого щита из черного бетона обозначились пунктиром галогенных рефлекторов. Контролеры поудобней уселись в креслах, хотя работы у них было всего ничего; зато главный компьютер рассиялся циферблатами, словно оповещая всех о своей чрезвычайной важности, какие-то реле начинали тихонько постукивать, и из репродуктора отчетливо зазвучал басистый голос:

– Эй вы, там, на Агатодемоне, это «Ариэль», говорит Клайн, мы на оптической, высота шестьсот, через двадцать секунд переключаемся на автоматы для посадки. Прием.

– Агатодемон – «Ариэлю!» – поспешно сказал в микрофон Сейн, маленький, с остроносим птичьим профилем. – Вы у нас на всех экранах, на каких только можете быть, поудобней укладывайтесь и аккуратненько идите вниз. Прием!

«Шуточки у них!» – подумал Пиркс, который этого не любил, возможно, из суеверия; но они тут, видно, ни в грош не ставят строгости процедуры.

– «Ариэль» – Агатодемону: у нас триста, включаем автоматы, опускаемся без бокового дрейфа, нуль на нуль. Какова сила ветра? Прием!

– Агатодемон – «Ариэлю»: ветер 180 в минуту, север-северо-западный, ничего он вам не сделает. Прием.

– «Ариэль» – всем: опускаюсь на оси, кормой, у рулей автоматы. Конец.

Наступила тишина, только реле быстро бормотали что-то по-своему; на экранах уже ясно обозначалась белая светящаяся точка, она быстро выростала, словно кто-то выдувал пузырь из огненного стекла. Это была пышущая пламенем корма корабля, который действительно опускался, как по невидимому перпендикуляру, без подрагиваний и отклонений, без малейших признаков вращения, – Пирксу приятно было смотреть на это. Он оценивал расстояние примерно в сто километров; до

пятидесяти не было смысла глядеть на корабль сквозь окно, тем не менее у окон уже толпились люди, задрав головы в зенит.

Диспетчерская имела постоянную радиофоническую связь с кораблем, но сейчас попросту не о чем было говорить: весь экипаж лежал в антигравитационных креслах, все делали автоматы под руководством главного корабельного компьютера; это именно он распорядился, чтобы атомную тягу при шестидесяти километрах высоты, то есть на самой границе стратосферы, сменили на бороводородную.

Теперь Пиркс подошел к центральному, самому большому окну и сейчас же увидел в небе сквозь бледно-серую дымку колючий зеленый огонек, крохотный, но необычайно ярко мерцающий, словно кто-то сверху просверливал атмосферу Марса пылающим изумрудом. От этой сверкающей точки расходились во все стороны бледные полоски – это были клочки туч, вернее, тех недоносков, которые в здешней атмосфере выполняют обязанности туч. Попадая в сферу ракетных выхлопов, они вспыхивали и распадалась, как бенгальские огни.

Корабль рос; собственно, по-прежнему росла только его круглая корма. Раскаленный воздух заметно колебался под ним, и неопытному человеку могло бы показаться, что корабль слегка раскачивается, но Пиркс слишком хорошо знал эту картину и не мог ошибиться. Все шло так спокойно, без всякого напряжения, что Пиркс припомнил первые шаги человека на Луне – там тоже все шло, как по маслу. Корма была уже зеленым пылающим диском в ореоле огненных брызг. Пиркс поглядел на главный альтиметр над пультами контролеров, – когда имеешь дело с такой громадиной, как «Ариэль», легко ошибиться в оценке высоты. Одиннадцать, нет – двенадцать километров отделяло «Ариэль» от Марса; очевидно, корабль опускался все медленней благодаря возрастанию тормозной тяги.

Вдруг сразу произошло многое.

Кормовые дюзы «Ариэля» в короне зеленых огней заколебались как-то по-иному. В громкоговорителе послышалось невнятное бормотание, выкрик, нечто вроде: «Ручная!», а может, «Не знаю!» – единственное; что прокричал человеческий голос, сдавленный, искаженный, – неизвестно, был ли это Клайн. Зеленый огонь, полыхавший из кормы «Ариэля», вдруг поблек. Это длилось долю секунды. В следующее мгновение корма словно растопырилась от ужасающей бело-голубой вспышки, и Пиркс понял все сразу, в дрожи ошеломления, пронзившей его с головы до пят, так что глухой исполинский голос, зарокотавший в громкоговорителе, ничуть не удивил его.

– «Ариэль» (пыхтенье). Перемена процедуры. Из-за метеорита. Полный вперед на оси. Внимание! Полная мощность!

Это был автомат. На фоне его голоса кто-то вроде кричал, а может, это чудилось. Во всяком случае, Пиркс правильно истолковал изменение окраски выхлопного пламени: вместо бороводорода включилась полная мощность реакторов, и гигантский корабль, будто заторможенный ударом ужасающего невидимого кулака, дрожа всеми скреплениями, остановился – по крайней мере так это выглядело для наблюдателей – в разреженном воздухе, на высоте всего четырех-пяти километров над щитом космодрома. Нужен был маневр дьявольский, запрещенный всеми правилами и

постановлениями, вообще выходящий за рамки космонавигации, – удержать махину в сто тысяч тонн весом; ведь требовалось сначала погасить скорость ее падения, чтобы она вслед за тем снова могла взвиться вверх.

Пиркс увидел в ракурсе бок исполинского цилиндра. Ракета потеряла вертикальное положение. Она кренилась. Начала было невероятно медленно выпрямляться, но ее качнуло в другую сторону, как гигантский маятник; новый обратный крен корпуса был уже больше. При столь малой скорости потеря равновесия с такой амплитудой была неодолима.

Лишь теперь дошел до Пиркса крик главного контролера:

– «Ариэль»! «Ариэль»! Что вы делаете?! Что у вас творится?!

Как много может произойти за долю секунды!

Пиркс у параллельного, незанятого пульта во всю глотку кричал в микрофон:

– Клайн!! На ручную!! Переходи на ручную, к посадке!! На ручную!!

Только в этот момент накрыл их протяжный немолкнущий гром. Только теперь донеслась до них звуковая волна! Как недолго все длилось!

Стоящие у окон закричали в один голос. Контролеры оторвались от пультов.

«Ариэль» падал, кувыркаясь, как камень, и качающиеся полосы кормового огня вслепую рассекали атмосферу; корабль вращался, безжизненный, будто труп, словно кто-то швырнул эту гигантскую башню с неба вниз, на грязно-бурые дюны пустыни. Все стояли как вкопанные в жутком глухом молчании, потому что ничего уже нельзя было сделать; громкоговоритель невнятно хрипел, бормотал, слышались отголоски то ли отдаленной суматохи, то ли гула океана, и неизвестно, были ли там человеческие голоса, – все сливалось в сплошной хаос. А белый, словно облитым сиянием, невероятно длинный цилиндр все быстрее мчался вниз. Казалось, что он угодит прямо в диспетчерскую. Кто-то рядом с Пирксом охнул. Все инстинктивно съежились.

Корабль наискось ударился об одну из невысоких оград вокруг щита, разломился надвое и, с какой-то странной медлительностью разламываясь дальше, раскидывая осколки во все стороны, зарылся в песок. Мгновенно взвилась туча высотой с десятиэтажный дом, в ней что-то загремело, зарокотало, брызнуло огненными струями, над гривистой завесой взметнувшегося песка вынырнул все еще ослепительно белый нос корабля, оторвался от корпуса, пролетел несколько сот метров; потом все почувствовали мощные удары – один, другой, третий; почва колыхалась от этих ударов, как при землетрясении. Все здание качнулось, подалось вверх и снова опало, словно лодка на волне. Потом в адском грохоте дробящегося металла все закрыла бронзово-черная стена дыма и пыли.

И это был конец «Ариэля». Когда все мчались по лестнице к шлюзу, Пиркс, одним из первых натянувший скафандр, не сомневался, что при таком столкновении никто не мог уцелеть.

Потом они бежали, пошатываясь под ударами вихря; издалека, от купола, уже двигались первые оверкрафты и гусеничные машины. Но спешить уже не стоило. Не к чему было.

Пиркс сам не знал, как и когда вернулся в диспетчерскую, – перед его ошеломленным взглядом все еще маячил кратер и раздавленный корпус корабля; он не понимал, почему оказался в этой маленькой комнатке, и по-настоящему очнулся, лишь когда усидел в зеркале свое посеревшее, осунувшееся лицо.

В полдень созвали комиссию экспертов для расследования причин катастрофы. Спасательные команды еще растаскивали экскаваторами и лебедками по кускам огромный корпус, еще не успели добраться до глубоко врезавшейся в грунт раздавленной рулевой рубки, где были контрольные автоматы, а с Большого Сырта уже прибыла группа специалистов на одном из тех диковинных маленьких вертолетов с громадными винтами, что способны летать только в разреженной марсианской атмосфере.

Пиркс никому не лез на глаза и никого ни о чем не спрашивал – он слишком хорошо понимал, что дело чрезвычайно темное. В ходе нормальной посадочной процедуры, которая делится на освященные традицией этапы и запрограммирована с предельной точностью и скрупулезностью, главный компьютер «Ариэля» без всякой видимой причины погасил бороводородную тягу, подал отрывочные сигналы, похожие на метеоритную тревогу, и переключил двигатели на уход от планеты с максимальной скоростью. И он уже не смог восстановить равновесие, нарушенное при этом головоломном маневре. Ни о чем похожем в анналах космонавигации не упоминалось; приходившие на ум предположения, что компьютер просто-напросто подвел, что в нем замкнулись или перегорели какие-то контуры, выглядели абсолютно неправдоподобно, поскольку речь шла об одной из двух программ (старт и посадка), которые были застрахованы от аварии такой массой предосторожностей, что скорее уж можно было заподозрить саботаж. Пиркс ломал себе над этим голову, сидя в комнатке Сейна, и умышленно носа за дверь не высовывал, чтобы никому не навязываться, тем более что ведь через несколько часов надо лететь, а в голову не приходит ничего такого, о чем следовало бы спешно известить комиссию.

Оказалось, однако, что про него не забыли. Около часу дня к нему заглянул Сейн. С ним был Романи – он ждал в коридоре. Пиркс его сначала не узнал, принял руководителя Агатодемона за кого-то из механиков: на нем был закопченный, весь в каких-то подтеках комбинезон, лицо осунулось от изнурения, левый угол рта то и дело подергивался. Но голос у него был прежний, спокойный; от имени комиссии, членом которой он являлся, Романи попросил Пиркса отложить старт «Кювье».

– Разумеется... если я нужен... – Пиркса это застигло врасплох, и он пытался собраться с мыслями. – Только мне нужно получить согласие Базы...

– Это мы сами уладим, если вы не возражаете.

Больше они ни о чем не говорили, отправились втроем в главный «пузырь», где в длинном, с низким потолком зале Управления сидело двадцать с лишним экспертов: несколько человек здешних, остальные – с Большого Сырта. Поскольку наступило обеденное время, а каждая минута была на счету, им принесли холодные закуски из буфета, и так, за чаем, над тарелочками с едой, из-за чего все выглядело как-то неофициально, почти несерьезно, началось совещание. Пиркс, конечно, понимал,

почему председательствующий, инженер Хойстер, попросил его выступить первым и описать ход катастрофы. Он был здесь единственным несомненно беспристрастным свидетелем, поскольку не являлся ни сотрудником диспетчерской, ни членом экипажа «Ариэля».

Когда Пиркс по ходу рассказа начал описывать свою реакцию, Хойстер впервые перебил его:

– Значит, вы хотели, чтобы Клайн выключил автоматику и попытался сам совершить посадку, да?

– Да.

– А можно узнать, почему?

Пиркс не замедлил с ответом:

– Я считал это единственным шансом.

– Так. А вам не казалось, что переход на ручное управление может привести к потере равновесия?

– Оно уже было потеряно. Впрочем, это можно проверить – есть ведь ленты.

– Конечно. Мы хотели прежде всего представить себе общую картину. А... каково ваше личное мнение?..

– О причине?..

– Да. Мы сейчас не столько совещаемся, сколько обмениваемся информацией, поэтому что бы вы ни сказали, это вас ни к чему особенно не будет обязывать, а любое предположение может оказаться ценным... даже самое рискованное.

– Понимаю. Что-то случилось с компьютером. Не знаю, что, и не знаю, как это могло произойти. Если б я сам не был в диспетчерской, я бы в это не поверил, но я был и все слышал. Это компьютер изменил процедуру и объявил метеоритную тревогу, внезапно и невнятно. Звучало это примерно так: «Метеориты – внимание – полная мощность на оси – вперед?» А поскольку никаких метеоритов не было... – Пиркс пожал плечами.

– Этот компьютер на «Ариэле» – усовершенствованный вариант модели АИБМ-09, – заметил Боулдер, электронщик; Пиркс его знал, они встречались на Большом Сырте.

Пиркс кивнул.

– Я знаю. Потому я и говорю, что не поверил бы, если б не видел собственными глазами. Но это случилось.

– Как вы считаете, командор, почему Клайн ничего не сделал? – спросил Хойстер.

Пиркс внутренне похолодел и, прежде чем ответить, оглядел присутствующих. Этот вопрос

не могли не задать. Но Пирксу не хотелось оказаться первым, кто вынужден будет на него отвечать.

– Этого я не знаю.

– Естественно. Однако многолетний опыт поможет вам представить себя на месте Клайна...

– Я представил. Я сделал бы то, к чему пытался его склонить.

– А он?

– Не было никакого ответа. Шум и вроде бы крики. Нужно будет очень тщательно прослушать ленты. Но боюсь, что это не много даст.

– Командор... – Хойстер говорил тихо и со странной медлительностью, будто осторожно подбирая слова. – Вы ведь ориентируетесь в ситуации, правда? Два следующих корабля того же типа, с той же системой управления сейчас находятся на линии Земля – Марс; «Арес» будет здесь через шесть недель, но «Анабис» – всего через девять дней. Не говоря уж о том, к чему нас обязывает память о погибших, мы имеем еще большие обязательства перед живыми. За эти пять часов вы, несомненно, уже обдумали все, что произошло. Я не могу заставить вас говорить, но очень прошу сообщить нам, к каким выводам вы пришли.

Пиркс почувствовал, что бледнеет. С первых же слов он понял, что хочет сказать Хойстер, и вдруг его охватило странное ощущение ночного кошмара: ожесточенное, отчаянное безмолвие, в котором он сражался с безликим противником и, убивая его, словно погибал с ним вместе. Это длилось мгновение. Он овладел собой и взглянул прямо в глаза Хойстеру.

– Понимаю, – сказал он. – Клайн и я – это два разных поколения. Когда я начинал летать, автоматика подводила гораздо чаще... Это накладывает отпечаток на все поведение человека. Думаю, что Клайн... доверял автоматам до конца.

– Клайн думал, что компьютер лучше разбирается в еде? Считал, что он сможет овладеть ситуацией?

– Может, он на это и не рассчитывал... а только думал, что если компьютер не справится, то человек тем более.

Пиркс перевел дыхание. Он все же сказал, что думал, не опорочив при этом младшего собрата, уже погибшего.

– Как по-вашему, была возможность спасти корабль?

– Не знаю. Времени было очень мало. «Ариэль» почти потерял скорость.

– Вы когда-нибудь садились в подобных условиях?

– Да. Но в маленькой ракете – и на Луне. Чем длиннее и тяжелее корабль, тем труднее восстановить равновесие при потере скорости, особенно если начинается

крен.

– Клайн вас слышал?

– Не знаю. Должен был слышать.

– Он взял на себя управление?

Пиркс хотел было сказать, что все это можно узнать по лентам, но вместо этого ответил:

– Нет.

– Откуда вы знаете? – это спросил Романи.

– По контрольной табличке. Надпись «Автоматическая посадка» светилась все время. Она погасла, лишь когда корабль разбился.

– А вы не думаете, что у Клайна уже не оставалось времени? – спросил Сейн. Его обращение выглядело подчеркнутым – ведь они были на «ты». Словно бы между ними обозначилась некая дистанция... может, враждебность?

– Ситуацию можно математически промоделировать, тогда выяснится, были ли шансы, – Пиркс старался говорить конкретно и по-деловому. – Я этого знать не могу.

– Но когда крен превышает 45 градусов, равновесие уже невозможно восстановить, – настаивал Сейн. – Ведь верно?

– На моем «Кювье» это не совсем так. Можно увеличить тягу сверх установленных пределов.

– Перегрузки больше двадцатикратной могут убить.

– Могут. Но падение с высоты пяти километров не может не убить.

На том и окончилась эта краткая дискуссия. Под лампами, включенными, несмотря на дневную пору, плоско стлался табачный дым. Все курили.

– По-вашему, Клайн мог взять управление на себя, но не сделал этого. Так? – Хойстер продолжил свою линию вопросов.

– Вероятно, мог.

– А вы не считаете возможным, что ваше вмешательство сбило его с толку?

– отозвался заместитель Сейна; Пиркс его не знал.

Здесь – против него? Он и это мог понять.

– Я считаю это возможным. Тем более что там, в рулевой рубке, люди что-то кричали. По крайней мере похоже было на это.

– На панику? – спросил Хойстер.

– На этот вопрос я не буду отвечать.

– Почему?

– Надо прослушать ленты. Это ведь не точные данные. Шум, который можно истолковать по-разному.

– А наземный контроль, по вашему мнению, мог еще что-нибудь сделать? – с каменным лицом спрашивал Хойстер.

Похоже было на то, что внутри комиссии назревает раскол. Хойстер был с Большого Сырта.

– Нет. Ничего.

– Вашим словам противоречит ваше собственное поведение.

– Нет. Контроль не имеет права вмешиваться в решение командира в такой ситуации. В рулевой рубке ситуация может выглядеть иначе, чем внизу.

– Значит, вы признаете, что действовали вопреки установленным правилам?

– снова вмешался заместитель Сейна.

– Да.

– Почему? – спросил Хойстер.

– Правила для меня не святыня. Я всегда делаю то, что сам считаю правильным. Мне уже приходилось за это отвечать.

– Перед кем?

– Перед Космическим Трибуналом.

– Но ведь с вас сняли все обвинения? – заметил Боулдер.

Большой Сырт – против Агатодемона. Это было почти очевидно.

Пиркс промолчал.

– Благодарю вас.

Он пересел на стул, стоящий в сторонке, потому что начал давать показания Сейн, потом – его заместитель. Тем временем из диспетчерской доставили регистрационные ленты. Поступали также сообщения о ходе работ с обломками «Ариэля». Было уже ясно, что никто не остался в живых, но в рулевую пробраться еще не удалось: она врезалась на одиннадцать метров вглубь. Прослушивали ленты, записывали показания до восьми вечера. Затем устроили перерыв на час. Сыртийцы

вместе с Сейном отправились на место катастрофы. Романи остановил Пиркса в коридоре.

– Командор...

– Слушаю.

– Вы ни на кого тут не...

– Не надо так говорить. Ставка слишком высокая, – перебил его Пиркс.

Романи кивнул.

– Вы пока что останетесь здесь на 72 часа. Мы уже договорились с Базой.

– С Землей? – изумился Пиркс. – Мне кажется, я уже ничем не смогу помочь...

– Хойстер, Рааман и Боулдер хотят кооптировать вас в комиссию. Вы не возражаете?

Сплошные сыртьицы...

– Если б я и захотел возразить, то не смог бы, – ответил Пиркс, и на этом они расстались.

В девять вечера собрались снова. Прослушивать ленты было тяжело, но еще тяжелее было смотреть фильм, запечатлевший все фазы катастрофы с того момента, как вспыхнула в зените зеленая звезда «Ариэля»...

Затем Хойстер подытожил предварительные результаты расследования:

– В самом деле похоже, что подвел компьютер. Он действовал так, словно «Ариэль» шел на пересечение с какой-то посторонней массой. Регистрационные ленты показывают, что он превысил допустимую мощность на три единицы. Почему он это сделал, мы не знаем. Возможно, что-то выяснится в рулевой рубке.

Он имел в виду регистрационные ленты «Ариэля»; Пиркс в этом отношении был настроен скептически.

– Что происходило в рулевой в последние минуты – невозможно уразуметь. Во всяком случае, компьютер подвел не в смысле оперативности. В самый критический момент он действовал вполне исправно – принимал решения и давал команды агрегатам в течение наносекунд. И агрегаты до конца работали безупречно. Это совершенно точно. Но мы не обнаружили абсолютно ничего, что могло бы свидетельствовать о внешней или внутренней опасности, мешавшей нормальной посадке. С семи часов трех минут до семи часов восьми минут все шло идеально. Решение компьютера об отмене посадки и о заранее обреченной попытке стартовать пока ничем объяснить не удастся. Коллега Боулдер?

– Я не могу этого понять.

– Ошибка в программе?

– Исключено. «Ариэль» много раз садился по этой программе на оси и с любых возможных траекторий.

– На Луне. Там притяжение меньше.

– Это может иметь некоторое значение для тяговых двигателей, но не для информационного комплекса. А двигатели не подвели.

– Коллега Рааман?

– Я не очень знаком с этой программой.

– Но вы знаете эту модель компьютера?

– Да.

– Что может прервать процедуру посадки, если нет внешних причин?

– Ничто не может.

– Ничто?

– Ну, разве что мина, подложенная под компьютер...

Наконец эти слова были сказаны. Пиркс слушал с величайшим вниманием. Шумели вентиляторы, дым сгустился под потолком возле вытяжных отверстий.

– Саботаж?

– Компьютер действовал до конца, хоть и непонятным для нас образом, – заметил Керховен, единственный интеллектронщик из местных в составе комиссии.

– Ну... насчет мины это я просто так сказал, – Рааман пошел на попятный. – Главную процедуру, то есть посадку или старт, в норме, если компьютер исправен, может прервать только нечто необычайное. Например, потеря мощности...

– Мощность сохранялась.

– Но в принципе компьютер может прервать главную процедуру?

Председательствующий это, конечно, знал. Пиркс понимал, что он сейчас обращается не к ним: говорит то, что должна услышать Земля.

– Теоретически может. Практически – нет. Метеоритная тревога во время посадки не объявлялась ни разу за всю историю космонавтики. Метеорит всегда можно обнаружить при подходе. И в этом случае посадка просто откладывается.

– Но ведь никаких метеоритов не было?

– Не знаю.

Разговор зашел в тупик. С минуту все молчали. За круглыми окнами уже стемнело. Марсианская ночь.

– Нужно поговорить с людьми, которые конструировали этот компьютер и проверяли его на тестах, – сказал наконец Рааман.

Хойстер кивнул. Он просматривал переданное телефонистом сообщение.

– Примерно через час они доберутся до рулевой рубки, – сказал он. Потом, подняв голову, добавил: – Завтра в совещании будут участвовать Макросе и ван дер Войт.

Это всех взбудоражило. Макросе был главный конструктор, а ван дер Войт – генеральный директор Объединенных верфей, где строились сотни тысячи.

– Завтра? – Пирксу показалось, что он ослышался.

– Да. Разумеется, не здесь. Они будут присутствовать телевизионно. На прямой видеосвязи. Вот сообщение, – он поднял телефонограмму.

– Однако же! А какое сейчас запоздание? – спросил кто-то.

– Восемь минут.

– Как же они это себе представляют? Мы же будем без конца ждать каждую реплику! – раздалась возгласы.

Хойстер пожал плечами.

– Мы обязаны подчиниться. Конечно, затруднения будут... Разработаем соответствующий порядок ведения...

– Совещание отложим до завтра? – спросил Рааман.

– Да. Соберемся в шесть утра. К этому времени получим уже лепты из рулевой.

Пиркс обрадовался, когда Романи пригласил его к себе на ночлег. Он предпочитал не общаться с Сейном. Поведение Сейна он понимал, но не одобрял.

Не без труда разместили всех сыртыйцев, и к полуночи Пиркс остался, наконец, один в каморке, которая представляла собой библиотеку и личный рабочий кабинет руководителя Базы. Не раздеваясь, он улегся на походную койку, поставленную среди теодолитов, закинул руки за голову и лежал недвижимо, глядя в низкий потолок, почти не дыша.

Странно, там, среди посторонних людей, он переживал случившееся словно бы извне, как один из многих очевидцев. Он не включался полностью в происходящее, даже когда, отвечая на вопросы, ощущал неприязнь, недоброжелательство, молчаливое обвинение в том, что он, чужак, хочет поставить себя выше местных специалистов,

даже когда Сейн выступил против него, – все это оставалось извне, казалось естественным и неизбежным: так и должно все происходить в подобных обстоятельствах. Он готов был отвечать за сноп поступки, но исходя из рациональных предпосылок, так что не чувствовал себя ответственным за трагедию. Он был потрясен, но сохранял спокойствие, все время оставаясь наблюдателем, не вполне подчиняющимся ходу событий, ибо события эти выстраивались в систему, – при всей загадочности происходящего их можно было анатомировать, изучать разъятыми, застывшими, фиксированными в зажимах официального расследования. Теперь все это распалось. Он ни о чем не думал, не вызывал в памяти никаких картин – они сами снова всплывали по порядку: телеэкраны, на них – появление корабля вблизи Марса, торможение космической скорости, изменение тяги; он словно был одновременно всюду, в диспетчерской и в рулевой рубке, он воспринимал эти глухие удары, эти гроыханья, пробегающие по килю и шпангоутам, когда колоссальная мощь, угасая, сменяется вибрацией бороводородных двигателей, и этот бас, которым турбонасосы заверяют, что гонят горючее; он чувствовал тормозную тягу и величаво неторопливое снижение – и тот перелом, тот грохот внезапно оживших двигателей, когда полная мощь снова рванулась в дюзы, а затем – вибрация, потеря равновесия; ракета, отчаянно пытаясь выровняться, качается, как маятник, кренится, как пьяная колокольня, и рушится с высоты, уже бессильная, уже мертвая, неуправляемая, слепая, будто камень, падает, сокрушая скалы, а Пиркс присутствовал везде и всюду. Он словно был этим борющимся кораблем и, болезненно ощущая полнейшую необратимость, окончательность того, что произошло, все же возвращался к тем мгновениям, долям секунды, будто повторяя безмолвный вопрос – что же не сработало, что подвело? Пытался ли Клайн перенять управление ракетой, сейчас было уже несущественно. Диспетчеры действовали по существу безупречно; они, правда, перешучивались, но это могло покоробить лишь человека суеверного или воспитанного в те времена, когда нельзя было позволять себе такую беспечность. Разумом Пиркс понимал, что ничего плохого в этом нет.

Он лежал навзничь и в то же время словно бы стоял у диагонального иллюминатора, нацеленного в зенит, когда искристую зелень бороводородной звезды поглотила ужасающая ослепительная вспышка атомной тяги, пульсируя в уже стынувших дюзах, и ракета раскачивалась, как язык колокола, веревку которого дергают яростные руки, и кренилась всем своим невероятно длинным корпусом, – она была такая громадная, что, казалось, уже сам размер, сам грандиозный размах выводит ее за пределы любых опасностей; должно быть, то же самое думали сто лет назад пассажиры «Титаника».

Вдруг все исчезло, будто он проснулся. Пиркс встал, умылся, открыл чемоданчик, достал пижаму, домашние туфли, зубную щетку – и в третий раз за этот день взглянул на себя в зеркале ванной словно на какого-то незнакомца.

Возраст между тридцатью и сорока – ближе к сорока – это полоса тени. Уже приходится принимать условия неподписанного, без спросу навязанного договора, уже известно, что обязательное для других обязательно и для тебя и нет исключений из этого правила: приходится стареть, хоть это и противоестественно.

До сих пор это тайком делало наше тело, но теперь этого мало. Требуется примирение. Юность считает правилом игры – нет, ее основой – свою неизменяемость: я был инфантильным, недоразвитым, но теперь-то я уже по-настоящему стал самим собой и

таким останусь навсегда. Это абсурдное представление в сущности является основой человеческого бытия. Когда обнаруживаешь его безосновательность, сначала испытываешь скорее изумление, чем испуг. Возмущаешься так искренне, будто прозрел и понял, что игра, в которую тебя втянули, жульническая и что все должно было идти совсем иначе. Вслед за ошеломлением, гневом, протестом начинаются медлительные переговоры с самим собой, с собственным телом, которые можно передать примерно так: несмотря на то что мы непрерывно и незаметно стареем физически, наш разум никак не может приспособиться к этому непрерывному процессу. Мы настраиваемся на тридцать пять лет, потом – на сорок, словно в этом возрасте так и сможем остаться, а потом, при очередном пересмотре иллюзий, приходится ломать себя, и тут наталкиваешься на такое внутреннее сопротивление, что по инерции перескакиваешь вроде бы даже слишком далеко. Сорокалетний тогда начинает вести себя так, как, по его представлениям, должен вести себя старик. Осознав однажды неотвратимость старения, мы продолжаем игру с угрюмым ожесточением, словно желая коварно удвоить ставку; пожалуйста, мол, если уж это бесстыдное, циничное, жестокое требование должно быть выполнено, если я вынужден оплачивать долги, на которые я не соглашался, не хотел их, ничего о них не знал, – на, получай больше, чем следует; на этой основе (хотя смешно называть это основой) мы пытаемся перекрыть противника. Я вот сделаюсь сразу таким старым, что ты растеряешься. И хотя мы находимся в полосе тени, даже чуть ли не дальше, в периоде потерь и сдачи позиций, на самом деле мы все еще боремся, мы противимся очевидности, и из-за этого трепыханья стареем скачкообразно. То перетянем, то недотянем, а потом видим – как всегда, слишком поздно, – что все эти стычки, эти самоубийственные атаки, отступления, лихие наскоки тоже были несерьезными. Ибо мы стареем, по-детски отказываясь согласиться с тем, на что совсем не требуется нашего согласия, сопротивляемся там, где нет места ни спорам, ни борьбе – тем более борьбе фальшивой.

Полоса тени – это еще не преддверие смерти, но в некоторых отношениях период даже более трудный, ибо здесь уже видишь, что у тебя не осталось неиспробованных шансов. Иными словами, настоящее уже не является преддверием, предисловием, залом ожидания, трамплином великих надежд – ситуация незаметно изменилась. То, что ты считал подготовкой, обернулось окончательной реальностью; предисловие к жизни оказалось подлинным смыслом бытия; надежды – несбыточными фантазиями; все необязательное, предварительное, временное, какое ни на есть – единственным содержанием жизни. Что не исполнилось, то наверняка уже не исполнится; нужно с этим примириться молча, без страха и, если удастся, без отчаяния.

Это критический возраст для космонавтов больше, чем для кого-либо другого, потому что в этой профессии малейшая неисправность организма сразу лишает тебя всякой ценности. Физиологи иногда говорят, что космонавтика предъявляет требования, слишком высокие даже для людей, идеально развитых и в физическом, и в умственном отношении: выходя из авангарда, здесь теряешь все.

Медицинские комиссии безжалостны – по необходимости, ибо нельзя допустить, чтобы человек умер или свалился от приступа во время космической вахты. Людей будто бы в расцвете сил списывают с кораблей, и они сразу оказываются у последней черты; врачи настолько привыкли ко всяким уловкам, к отчаянным попыткам симулировать здоровье, что разоблачение не влечет за собой никаких последствий – ни дисциплинарных, ни моральных, ровно ничего; почти никому по удавалось

продлить срок действительной службы в космонавтике за предел пятидесяти лет. Перегрузки – это опаснейший враг мозга; может, через сто или тысячу лет будет иначе, но пока что эта перспектива угнетает каждого космонавта, вступившего в полосу тени.

Пирксу было известно, что молодежь называет его врагом автоматике, консерватором, мамонтом. Некоторые из его ровесников уже не летали; в меру способностей и возможностей они переквалифицировались – стали преподавателями, членами Космической Палаты, пристроились на синекуры в доках, заседали в контрольных комиссиях, возились со своими садиками. Вообще как-то держались и неплохо разыгрывали примирение с неизбежным – бог знает, чего это стоило многим из них. Но случались и безответственные поступки, порожденные несогласием, бессильным протестом, высокомерием и яростью, ощущением несправедливо постигшего их несчастья. Душевноболевных среди космонавтов не было, но некоторые опасно приближались к помешательству, хотя никогда не переступали последней черты; и все же под нарастающим давлением близящейся неизбежности случались эксцессы, поступки по меньшей мере странные... О да, он знал всякие эти причуды, заблуждения, суеверия, которым поддавались и незнакомые ему люди, и те, которых он знал много лет, за которых когда-то мог бы вроде поручиться.

Каждый день необратимо гибнет в мозгу несколько тысяч нейронов, и уже к тридцати годам начинается эта специфическая неосязаемая, по неустанная гонка, соперничество между ослабеванием функций мозга, размываемого атрофией, и их совершенствованием на основе накапливающегося опыта; так возникает шаткое равновесие, прямо-таки акробатическое балансирование, которое дает возможность жить – и летать. И видеть сны. Кого он столько раз убивал во сне прошлой ночью? Нет ли в этом какого-то особого смысла?

Пошевелившись на койке, которая заскрипела под его тяжестью, Пиркс подумал, что, может, ему так и не удастся уснуть. До сих пор он не знал бессонницы, по когда-нибудь она должна же появиться. Эта мысль странно обеспокоила его. Он боялся вовсе не бессонной ночи, а такой вот строптивости собственного тела, которое до сих пор было абсолютно надежным, а теперь вдруг распустилось. Он просто не хотел валяться с открытыми глазами; хоть это и было глупо, он сел, бессмысленно воззрившись на свою зеленую пижаму и поревел взгляд на книжные полки. Он не рассчитывал найти здесь что-либо интересное, и поэтому его поразила шеренга толстых томов над исклеванной циркулем чертежной доской. Развернутым строем стояла там почти что вся история ареологии; большинство этих книг Пиркс знал, те же самые издания имелись в его библиотеке на Земле. Он встал и начал поочередно притрагиваться к внушительным корешкам. Здесь был не только отец астрономии Гершель, но и Кеплер, его «Новая астрономия», опирающаяся на материалы наблюдений Тихо де Браге. А дальше шли Фламарион, Бакхюйзен, Кайзер, и великий фантаст Скиапарелли, и Аррениус, и Антониади, Койпер, Лоуэлл, Пикеринг, Сахеко, Струве, Вокулер. И карты, рулоны карт, со всеми этими названиями – Margaritifer Sinus, Lacus Solis и сам Агатодемон... Пиркс просто смотрел – ему незачем было открывать эти книги с их потертыми обложками, толстыми, как доски.

Запах старого полотна, переплетной основы, – запах достопочтенный и в то же время с гнильцой – оживил в памяти Пиркса часы, посвященные загадке, которую люди штурмовали два столетия подряд, осаждали неисчислимым множеством гипотез и, наконец, умирали, так и не дождавшись решения проблемы. Антониади, всю свою жизнь

не замечавший каналов, на склоне лет неохотно сознался, что видел «какие-то линии, которые выглядели подобным образом». Графф, который так и не увидел ни одного канала, говорил, что ему не хватает «воображения», присущего многим его коллегам. «Каналисты» же видели сеть каналов и зарисовывали ее по ночам, часами подстерегая у телескопов краткие мгновения «спокойной атмосферы», – тогда, уверяли они, на мглисто-буром диске четко проступает геометрически точная сеть, вычерченная линиями тоньше волоса. У Лоуэлла эта сеть получалась густой, у Пикеринга – более редкой; зато Пикерингу везло на «близнецов», как называли удивительное раздваивание каналов. Оптическая иллюзия? Тогда почему же некоторые каналы никак не хотели раздваиваться? Пиркс в бытность свою кадетом корпел над этими книгами в читальном зале – такие старинные издания на дом не выдавались. Он был тогда, что и говорить, сторонником «каналистов». Их аргументы казались ему неопровержимыми: Графф, Антониади, Холл, все, кто остался Фомой неверующим, работали в обсерваториях на севере, в задымленных городах, с вечно беспокойным воздухом, в то время как Скиапарелли был в Милане, а Пикеринг сидел на своей горе, поднимавшейся над аризонской пустыней. «Антиканалисты» ставили хитроумные эксперименты: предлагали перерисовать диск с хаотически нанесенными на него точками и кляксами, которые на большом расстоянии сливались в некое подобие сети каналов, а потом спрашивали: почему каналы на Марсе не видны даже в самые мощные телескопы? Почему невооруженным глазом можно усмотреть каналы и на Луне? Почему первые наблюдатели не видели никаких каналов, а после Скиапарелли все, как по команде, прозрели? А «каналисты» отвечали: до появления телескопов никто никогда никаких каналов на Луне не видел. В больших телескопах нельзя использовать полную апертуру и максимальное увеличение, потому что атмосфера Земли недостаточно спокойна; опыты с рисунками – это обходный маневр... У «каналистов» на все был готов ответ. Марс – это гигантский замерзший океан, каналы – трещины в его ледяных полях, раскалывающихся под ударами метеоритов. Нет, каналы – это широкие долины, по которым текут весенние паводки, а на их берегах тогда расцветает марсианская растительность. Спектроскопия перечеркнула и эту возможность: выяснилось, что воды слишком мало. Тогда узрели в каналах огромные каньоны, длинные долины, по которым плывут от полюса к экватору потоки туч, гонимые конвекционными течениями. Скиапарелли никогда не решался открыто заявить, что каналы – это создания инопланетян, он использовал двусмысленность термина «канал»; это был специфический пунктик – такая застенчивость миланца и многих других астрономов: они не называли вещи своими именами, а только рисовали карты и предъявляли их. Но в архиве Скиапарелли сохранились рисунки, объясняющие, как возникает раздвоение каналов, как появляются пресловутые «каналы-близнецы» – там, где вода врывается в параллельные, прежде высохшие русла, ее подъем внезапно затемняет контуры, как если бы залить тушью насечки на дереве... Противники же не только отрицали существование каналов, не только накапливали контраргументы, но с течением времени словно бы все яростней ненавидели эти каналы. Уоллес, второй вслед за Дарвином создатель теории естественной эволюции, то есть даже не астроном, человек, который, может, в жизни ни разу не глядел на Марс в телескоп, в своем стостраничном памфлете изничтожил не только каналы, но и самую мысль о существовании жизни на Марсе. «Марс, – писал он, – не только не заселен разумными существами, как это утверждает мистер Лоуэлл, – он вообще абсолютно необитаем».

Никто из ареологов не отличался сдержанностью и умеренностью: каждый стремился открыто провозгласить свое кредо. Следующее поколение «каналистов» уже

описывало марсианскую цивилизацию – и разногласия росли: «живой оазис деятельного разума», – говорили одни; «мертвая пустыня», – отвечали им другие. Потом Сахеко увидел эти загадочные вспышки, мгновенно гаснущие среди возникающих туч; они были слишком кратковременными для вулканического извержения и появлялись при противостоянии планет, а значит, не могли порождаться отблеском Солнца на обледенелом горном склоне; произошло это еще до открытия атомной энергии, так что гипотеза о марсианских ядерных испытаниях возникла позднее... В первой половине XX века все согласились с тем, что геометрически четких каналов Скиапарелли, правда, нет, но все же существует Нечто, дающее возможность их увидеть; глаз дорисовывает, но не творит иллюзии из ничего; каналы видели слишком много людей из самых разных точек земного шара. В общем наверняка – не открытая вода в ледяных расщелинах и не потоки низких туч в руслах долин, возможно, даже и не полосы растительности, а все же есть Нечто – почему знать, может, еще более загадочное, непонятное – и оно ждет человеческого взгляда, фотообъективов, автоматических зондов.

Пиркс ни с кем не делился мыслями, которые овладевали им при этом ненасытном чтении, но Берст, сообразительный и беспощадный, как и подобает первому ученику, раскусил тайну Пиркса и на несколько недель сделал его посмешищем всего курса: прозвал его «канальным Пирксом», который якобы провозгласил новую доктрину наблюдательной астрономии: «Верую, ибо этого нет». Пиркс и вправду знал, что никаких каналов нет и – что еще хуже, может, еще безжалостней – нет вообще ничего такого, что напоминает каналы. Как же он мог этого не знать, если Марс давно уже был покорен, если сам он сдавал зачеты по ареографии и ему приходилось не только ориентироваться на детальных аэрофотокартах марсианской поверхности, но и совершать посадки – в имитаторе – на дно того самого Агатодемона, где он теперь стоял под колпаком Проекта, перед полкой с плодами двухсотлетних усилий, обратившимися в музейный экспонат.

Разумеется, он все это знал, но эти знания держались в его голове как-то совершенно обособленно: они не подлежали проверке, словно были сплошным грандиозным обманом. И словно по-прежнему существовал какой-то другой, недостижимый, покрытый геометрическими чертежами таинственный Марс.

Во время полета на линии Земля – Марс наступает такой период, возникает такая зона, откуда действительно начинаешь видеть невооруженным глазом, и притом видеть непрерывно на протяжении многих часов, то, что Скиапарелли, Лоуэлл и Пикеринг наблюдали только в редкие мгновения атмосферного затишья. Через иллюминаторы – иногда сутки, а иногда и двое суток – можно наблюдать каналы, возникающие как тусклый чертеж на фоне бурого недружелюбного диска. Потом, когда планета еще немного приблизится, они начинают бледнеть, расплываться, один за другим уходят в небытие, от них не остается ни малейшего следа, и планета, лишенная каких-либо четких очертаний, своей пустынностью, своим нудным, будничным равнодушием словно насмехается над теми надеждами, которые она пробудила. Правда, еще через несколько недель полета Нечто появляется окончательно и уже не расплывается, но теперь это попросту выщербленные валы кратеров, причудливые нагромождения выветрившихся скал, бесформенные каменистые осыпи, тонущие в глубоком буром песке, и все это ничуть не походит на прежний, чистый и четкий геометрический чертеж. На близком расстоянии планета уже покорно, до конца обнажает свой хаос, она не в силах скрыть столь очевидное зрелище миллиардолетней

эрозии. И этот хаос прямо невозможно согласовать с тем памятным четким рисунком, который передавал очертания чего-то, что воздействовало так сильно, будило такое волнение именно потому, что в нем угадывался логический порядок, какой-то непонятный, но выдающий свое присутствие смысл, для понимания которого требовалось только приложить побольше усилий.

Так в чем же он, собственно, был, этот смысл, и что таилось в этом насмешливом мираже? Проекция сетчатки глаза, его оптических рецепторов? Активность зрительной зоны головного мозга? Никто не собирался отвечать на этот вопрос, ибо отвергнутая проблема разделила участь всех прежних, перечеркнутых, сметенных научным прогрессом гипотез: ее выбросили на свалку.

Раз нет каналов – ни даже чего-то специфического в рельефе планеты, что способствовало бы возникновению такой стойкой иллюзии, – так не о чем и говорить, не над чем размышлять. Наверное, хорошо, что никто из «каналлистов», как и из «антиканаллистов», не дожид до этих отрезвляющих открытий, ибо загадка вовсе не была решена: она попросту исчезла. Есть ведь и другие планеты с плохо различимыми дисками, но каналов не видели ни на одной из них – никогда. Никто их не обнаруживал, никто не зарисовывал. Почему? Неизвестно.

Разумеется, можно было бы и на этот счет строить гипотезы: может, нужна некая смесь расстояния и оптического увеличения, объективного хаоса и субъективного стремления к упорядоченности; следов того, что, возникая из мутного пятнышка в окуляре и все время оставаясь за гранью доступности для восприятия, на какие-то мгновения все же почти переступало эту грань, то есть требовалась хотя бы малейшая опора для мечтаний – и тогда была бы написана эта, заранее вычеркнутая, глава астрономии.

Целые поколения ареологов требовали от планеты, чтобы она стала на чью-то сторону, как полагается в честной игре, – и уходили из жизни, нерушимо веря, что это дело попадет наконец к подлинно компетентным судьям и будет решено окончательно, справедливо и бесспорно. Пиркс понимал, что все они, хоть и по-разному, почувствовали бы себя обманутыми и разочарованными, если б получили такие обстоятельные разъяснения по этому поводу, какие суждено было получить ему. В этом разъяснении, перечеркивающем все вопросы и ответы, в полнейшей несостоятельности всех гипотез и суждений о загадочном объекте был какой-то горький, но важный, жестокий, но полезный урок, который – Пиркса вдруг осенило – имел связь с тем, что здесь произошло и над чем он ломал голову.

Связь между старинной ареографией и гибелью «Ариэля»? В чем же она состоит? И как следовало бы истолковать это неясное, но неотвязное ощущение?

Этого Пиркс не знал. Однако он понимал, что не сможет сейчас, среди ночи разгадать, в чем заключается связь между столь непохожими друг на друга, столь отдаленными явлениями, и уже не сможет забыть о ее существовании. Надо пока что отоспаться.

Гася свет, он подумал еще, что Романи – человек, гораздо более богатый духовно, чем можно было предположить. Эти книги были его личной собственностью, а ведь каждый килограмм личных вещей, привозившихся на Марс, вызывал ожесточенные споры;

предусмотрительная администрация Проекта поразвешивала на земном космодроме инструкции и воззвания к добропорядочности сотрудников, где объяснялось, как вредно для общего дела загружать ракеты излишним балластом. От людей добивались разумного поведения, а сам Романи – как-никак руководитель Агатодемона – нарушил эти предписания и правила, привезя несколько десятков килограммов абсолютно лишних книг. И зачем, собственно? Ведь нечего было и думать о том, что он сможет здесь читать эти книги.

Уже засыпая, Пиркс усмехнулся в темноте, поняв, чем оправдано присутствие этого библиофильского старья под колпаком марсианского Проекта. Конечно, никому тут дела нет до этих книг, до всех этих отвергнутых евангелий и пророчеств. Но казалось справедливым, более того, необходимым, чтобы запечатленные мысли людей, отдавших лучшие силы души загадке красной планеты, оказались тут, на Марсе, уже после полного примирения самых заядлых противников. Они это заслужили. А Романи, который это понимал, был человеком, достойным доверия.

Пиркс проснулся в пять утра; после мертвого сна он сразу отрезвел, словно вылез из холодной воды, и, имея некоторое время в своем распоряжении, отвел себе пять минут, как нередко делал, – стал размышлять о командире погибшего корабля. Он не знал, мог ли Клайн спасти «Ариэля» и тридцать человек команды, но не знал также, пытался ли Клайн это сделать. Клайн был из поколения рационалистов – они подлаживались к своим непогрешимо логическим союзникам, компьютерам, ибо автоматика предъявляла к людям все более высокие требования, если они хотели ее контролировать. Так что легче было слепо довериться ей. Пиркс этого не мог сделать, даже если бы и очень хотел. Это недоверие было у него в крови.

Он включил радио.

Буря разразилась. Он этого ожидал, но масштабы истерии его поразили. В заголовках доминировали три темы: подозрение в саботаже, опасения за судьбу кораблей, летящих к Марсу, и, конечно, политические аспекты этого происшествия. Серьезные газеты остерегались распространяться насчет саботажа, зато бульварная пресса дала себе волю. Много было и критики в адрес стотысячников – их недостаточно опробовали, они не могут стартовать с Земли, и, что еще хуже, их теперь невозможно вернуть с дороги, потому что у них недостаточный запас топлива, и нельзя их разгрузить на околomarсианских орбитах. Все это было верно: стотысячники могли садиться только на Марс. Но три года назад пробная модель, правда с несколько иным типом компьютера, несколько раз совершила посадку на Марс вполне успешно. Доморощенные специалисты об этом словно бы и не слышали. Развернулась также кампания против приверженцев Проекта, его в открытую называли сумасшествием. Наверное, где-то уже подготовили реестры нарушения правил безопасности и на обоих марсианских плацдармах, и при утверждении проектов, и на испытаниях моделей; перемывали косточки всем марсианским руководителям; общий тон был мрачно-пророческим.

В шесть утра Пиркс пришел в Управление, и оказалось, что они уже никакая не комиссия, – Земля успела аннулировать их самозваную организацию; они могли делать, что хотели, но все должно было начаться заново, официально и легально, лишь после того, как подключится земная группа. «Аннулированная» братия оказалась вроде бы в более выгодном положении, чем вчера: раз они не обязаны ничего

решать, можно гораздо свободней разрабатывать гипотезы и выводы для высшей, то есть земной, инстанции.

Материальное положение на Большом Сырте было довольно сложным, но не критическим; зато Агатодемон без поставок не протянул бы и месяца: не могло быть и речи о том, чтобы Сырт оказал им эффективную помощь: тут не хватало не только строительных материалов, но даже воды. Необходимо было немедленно ввести режим строжайшей экономии.

Пиркс слушал этот разговор краем уха: тут как раз доставили регистрирующую аппаратуру из рулевой рубки «Ариэля». Останки людей уже лежали в контейнерах; будут ли их хоронить на Марсе, пока не решили. Регистрирующие ленты нельзя было анализировать сразу, понадобилась какая-то подготовка, и поэтому пока обсуждались вопросы, не связанные непосредственно с причинами и ходом катастрофы: нельзя ли избежать опасностей Проекта, мобилизовав максимальное количество небольших кораблей? Смогут ли эти корабли достаточно быстро перебросить сюда необходимый минимум грузов? Пиркс, конечно, понимал рациональность таких рассуждений, однако ему трудно было не думать о двух сотысячниках, которые находились на пути к Марсу и этими разговорами словно бы заранее вычеркивались из жизни, будто все признали, что о дальнейшем их движении на этой линии и говорить нечего. Так что же с ними делать, раз уж они не могут не садиться?

Около десяти Пиркс улизнул из прокуренного помещения и, воспользовавшись любезностью механиков космодрома, отправился с ними в небольшом вездеходе на место катастрофы.

День был довольно теплый для марсианского и почти пасмурный. Небо приобрело водянисто-ржавый, чуть ли не розовый оттенок; в такие минуты кажется, что Марс обладает своей, непохожей на земную, суровой красотой – слегка затуманенной, словно бы нераскрывшейся, – она вскоре под более яркими лучами Солнца проглянет сквозь пыльные бури и грязные полосы. Но таким ожиданиям не суждено сбыться, ибо это не предвестник чего-то лучшего, а, наоборот, самое лучшее из того, что может продемонстрировать планета.

Удалившись на полторы мили от приземистого, похожего на бункер здания диспетчерской, они доехали до конца бетонированной площадки: дальше вездеход безнадежно завяз. Пиркс был в легком полускафандре, какими все тут пользовались: ярко-голубой, намного удобнее космического и с более легким ранцем, поскольку циркуляция кислорода здесь была открытая, но климатизатор, видимо, пошаливал – стоило Пирксу вспотеть, когда пришлось пробираться по сыпучим дюнам, – и стекло шлема сразу затуманилось; впрочем, здесь в этом не было ничего страшного – между патрубком шлема и нагрудной частью скафандра болтались, как индюшачьи сопля, пустые мешочки: в них можно было всунуть руку и изнутри протереть стекло; способ хотя и примитивный, но действенный.

Дно огромной воронки было сплошь забито гусеничными машинами; туннель, через который пробрались в рулевую рубку, походил на отверстие шахты, его даже прикрыли с трех сторон листами рифленого алюминия, чтобы предотвратить осыпание песка. Половину воронки загромодила центральная часть корпуса, огромная, как трансатлантический лайнер, выброшенный бурей на сушу и разбившийся о скалы; под ним

копошилось человек пятьдесят, но и люди, и краны с экскаваторами казались муравьями у трупа великана. Нос ракеты, почти не поврежденный обломок длиной восемнадцать метров, отсюда не был виден – он с разгону отлетел на несколько сот метров; о том, что сила удара была чудовищной, свидетельствовали оплавленные обломки кварца: кинетическая энергия мгновенно превратилась в тепловую и вызвала термический скачок, как при падении метеорита, хотя скорость все же не была такой уж значительной – она оставалась в пределах звуковой. Пирксу показалось, что несоответствием между наличными средствами базы и громадностью корабля все же нельзя полностью оправдать то, как ведутся работы; конечно, тут приходилось импровизировать, по в этой импровизации было немало разгильдяйства; возможно, оно порождалось мыслью о том, как невообразимо огромен ущерб. Даже вода не уцелела – цистерны все до единой полопались, и песок поглотил тысячи гектолитров, прежде чем остальное обратилось в лед. Этот лед производил особенно жуткое впечатление – из корпуса, распоротого метров на сорок вдоль, вываливались грязные поблескивающие ледопады, упираясь в дюны причудливыми зубцами, словно взорвавшийся корабль изверг из себя ледяную Ниагару. Но ведь было восемнадцать ниже нуля, а ночью температура падала до шестидесяти. Из-за этих стеклянистых каскадов остов корабля казался невероятно старым – можно было подумать, что он лежит здесь с незапамятных времен. Чтобы попасть внутрь корпуса, пришлось бы раскалывать и вырубать лед, поэтому и решили вскрывать оболочку из туннеля. Оттуда вытаскивали уцелевшие контейнеры, груды их виднелись там и сям на склонах воронки, но дело шло как-то вяло. Доступ к кормовой части был воспрещен; там на растянутых тросах трепыхались красные флажки – сигналы радиоактивной опасности.

Пиркс обошел поверху, по краю воронки все место катастрофы; он насчитал две тысячи шагов, прежде чем оказался над закопченными раструбами дюз. Он возмущался, глядя, как тянут и все не могут вытянуть единственную уцелевшую цистерну с горючими маслами – цепи у них все соскальзывали. Ему казалось, что он пробыл здесь не очень долго, но кто-то тронул его за плечо и показал на стрелку кислородного запаса. Давление в баллоне снизилось, и нужно было возвращаться – запасного баллона он не взял. Новенькие часики показали, что он проторчал у обломков корабля почти два часа.

В зале заседаний обстановка изменилась; все уселись по одну сторону длинного стола, а на другой стороне техники установили шесть больших плоских телевизоров. Но, как обычно, что-то не ладилось на линии связи, и поэтому заседание отложили до часу дня. Хароун, техник-телеграфист с Большого Сырта, которого Пиркс знал весьма отдаленно и который почему-то питал к нему большое уважение, дал ему первые фотокопии лент из так называемой «бессмертной ячейки» корабля; тут были зафиксированы команды насчет распределения мощности. Хароун не имел права вот так, неофициально, давать ему ленты, и Пиркс должным образом оценил этот знак доверия. Он заперся в своей комнатке и, стоя под яркой лампой, начал проглядывать еще не просохшие извивы пластиковой ленты. Картина была столь же четкой, сколь непонятной. На триста семнадцатой секунде посадочного маневра, проходившего до тех пор безукоризненно, в контурах контроля возникли паразитные токи, которые затем приобрели характер громыхания. Дважды подавленные компьютером, который перебрасывал для этого нагрузку на параллельные, резервные контуры, эти токи возникали снова, очень усилившись, а в дальнейшем теми работы датчиков увеличился втрое против нормы. Лента эта регистрировала работу не самого

компьютера, а его «спинного мозга», который под управлением автоматического начальства координировал полученные команды с состоянием агрегатов тяги. Эту систему иногда называли «мозжечком» по аналогии с человеческим мозжечком, который также ведаёт координацией движений, играя роль контрольно-пропускного пункта между корой мозга и телом.

Пиркс просмотрел эти записи работы «мозжечка» с величайшим вниманием. Впечатление было такое, будто компьютер торопился, будто, ничем не нарушая процедуру посадки, он с каждой секундой требовал все больше и больше контрольных данных об агрегатах. Это привело к перегрузке информацией, и в результате возникли своеобразные эхо-сигналы в виде паразитных токов; их эквивалентом у животного был бы излишне повышенный тонус, то есть такая склонность к нарушениям моторики, которая называется состоянием судорожной готовности. Пиркс ничего тут не мог понять. Правда, он не имел наиболее важных лент, где были зафиксированы решения самого компьютера; Хароун дал ему то, чем сам располагал.

Кто-то постучал в дверь. Пиркс спрятал лепты в чемоданчик и вышел в коридор; там стоял Романи.

– Новые господа тоже хотят, чтобы вы участвовали в работе комиссии, – сказал он.

Романи уже не был таким измученным, как накануне, он выглядел лучше – возможно, под воздействием конфликтов, возникающих в столь странно организованной комиссии. Пиркс подумал, что по простейшей логике вещей «марсиане» Агатодемона и Большого Сырта, недолюбливающие друг друга, объединятся, если «новые господа» попробуют навязывать им свои собственные концепции.

Новообразованная комиссия состояла из одиннадцати человек. Председательствовал по-прежнему Хойстер, по лишь потому, что никто не мог справиться с этими обязанностями, находясь на Земле. Совещание, участники которого удалены друг от друга на 80 миллионов километров, не может проходить гладко, и если уж пошли на такую рискованную затею, то наверняка под давлением различных факторов, действовавших на Земле.

Сначала подsumмировали полученные результаты – специально для землян. Пиркс знал среди них только генерального директора Верфей ван дер Войта. Цветное телевизионное изображение, хотя и было безукоризненным, придавало ван дер Войту черты монументальности: на экране он выглядел словно бюст гиганта с одутловатым обвисшим лицом, преисполненным властной энергии, весь в клубах дыма, будто его окуривали откуда-то сзади из невидимой сигары, – руки ван дер Войта оставались за рамкой экрана. Пиркс сразу почувствовал неприязнь к ван дер Войту: генеральный директор, казалось, восседал среди них в одиночку, словно все прочие земные эксперты, моргающие глазами на других экранах, были только статистами.

То, что говорилось в зале, приходило на Землю с четырехминутным запозданием, а голос с Земли попадал на Марс еще через четыре минуты. Когда Хойстер кончил изложение, пришлось ждать восемь минут. Но земляне пока не хотели высказываться; ван дер Войт затребовал ленты с «Ариэля», которые уже лежали у микрофона Хойстера. Каждый член комиссии получил комплект фотокопий.

Комплекты были невелики по объему – ведь ленты зарегистрировали работу управляющего комплекса лишь за последние пять минут. Лентами, предназначенными для Земли, занялись операторы. Пиркс начал просматривать свои, сразу отложив те, с которыми уже ознакомился благодаря Хароуну.

Компьютер принял решение перейти с посадочной процедуры на стартовую на 317-й секунде. Но это не был нормальный старт, это была попытка спастись бегством, якобы от метеорита, то есть, собственно, не поймешь что, ибо выглядело это как импровизация в минуты отчаяния. Все, что творилось потом – эти сумасшедшие скачки кривых на лентах во время падения, – Пиркс счел совершенно несущественным: ведь тут изображалось лишь то, как задыхался компьютер, будучи не в силах расхлебать кашу, которую сам заварил. Сейчас надо было не анализировать подробности ужасающей агонии, а выяснить причину решения, в итоге равнозначного самоубийству.

Причина эта оставалась неясной. Начиная со 170-й секунды компьютер работал с колоссальным перенапряжением, и на лентах отмечалась необычайная информационная перегрузка. Но об этом легко было рассуждать сейчас, зная конечные результаты такой работы, а компьютер извещал о перегрузке рулевую рубку, то есть экипаж «Ариэля», только на 301-й секунде процедуры. Он уже тогда давился сведениями, но требовал все новых и новых; так что вместо объяснения члены комиссии получили новые загадки.

Хойстер дал десять минут на просмотр лент, а затем спросил, кто хочет высказаться. Пиркс поднял руку, словно школьник за партой. Но не успел заговорить, как инженер Стотик, представитель Верфей, который должен наблюдать за разгрузкой стотысячников, заметил, что надо подождать: быть может, первым захочет выступить кто-нибудь из землян. Хойстер заколебался. Инцидент был неприятный, тем более что произошел он в самом начале. Романи попросил слова по процедурному вопросу и заявил, что если заботы о равноправии всех членов комиссии будут мешать нормальному ходу ее работы, то ни он, ни другие представители Агатодемона оставаться в комиссии не намерены. Стотик отступился, и Пиркс наконец смог говорить.

– Это как будто бы усовершенствованная модель АИБМ-09, – сказал он. – Поскольку я налетал с таким компьютером почти тысячу процедурных часов, у меня имеются некоторые практические наблюдения насчет его работы. В теории я не разбираюсь. Знаю столько, сколько мне положено. Речь идет о компьютере, который работает в реальном времени и должен успевать перерабатывать данные. Я слышал, что эта новая модель имеет пропускную способность на 36% больше, чем АИБМ-09. Это немало. На основании полученных материалов я могу сказать, что дело было так. Компьютер начал осуществлять нормальную посадочную процедуру, а потом стал сам себе мешать, требуя от своих подсистем все большего количества данных за единицу времени. Это все равно как если бы полководец отвлекал от боя все большее количество людей, чтобы сделать их связными, информаторами; под конец битвы он был бы идеально информирован, только у него не осталось бы солдат, некому было бы сражаться. Компьютер не то что был задушен – он сам себя удушил. Он заблокировал себя этой информационной эскалацией. И он бы заблокировался, даже если бы имел вдесятеро большую пропускную способность, поскольку все время повышал требования. Говоря математическим языком, он сокращал свою пропускную способность

по экспоненте, к «мозжечок», как наиболее узкий канал, первым забарахлил. Запаздывания сначала возникли в «мозжечке», а потом перебросились на сам компьютер. Оказавшись в состоянии информационной задолженности, то есть перестав быть машиной, работающей в реальном времени, компьютер сам себя заглушил, и ему пришлось принимать какое-то радикальное решение; вот он и принял решение стартовать, то есть интерпретировал возникшие нарушения своей работы как следствие внешней угрозы.

– Он объявил метеоритное предупреждение. Как вы это объясняете? – спросил Сейн.

– Каким образом он мог переключиться с главной процедуры на второстепенную, я не знаю. Я этого объяснить не могу, потому что не разбираюсь в конструкции компьютера хотя бы удовлетворительно. Почему он объявил тревогу? Не знаю. Во всяком случае, для меня неоспоримо, что в этом был виноват он сам.

Теперь уже приходилось ждать, что скажет Земля. Пиркс был уверен, что ван дер Войт на него накинется, и не ошибся. Мясистое тяжелое лицо, и близкое, и далекое вместе, глянуло на него сквозь дым сигары; когда Ван дер Войт заговорил, его бас звучал любезно, а глаза приветливо улыбались с таким всеведущим благодушием, словно это наставник обращался к подающему надежды ученику.

– Следовательно, командор Пиркс исключает саботаж? Но на каком основании? Что значит – «он сам виноват»? Кто «он»? Компьютер? Но ведь компьютер, как признал сам командор Пиркс, работал до конца. Значит, программа? Но она ничем не отличается от тех программ, благодаря которым командор Пиркс сотни раз совершал посадку. Не считаете ли вы, что кто-то произвел изменения в программе?

– Я не намерен высказываться на тему о том, имел ли здесь место саботаж, – ответил Пиркс. – Это меня пока не интересует. Если бы компьютер и программа были в полном порядке, то «Ариэль» стоял бы здесь невредимым и нам с вами не понадобилось бы разговаривать. На основе изучения лент я утверждаю, что компьютер работал правильно, в рамках заданной процедуры, но так, словно хотел проявить себя как идеальная машина, которую не удовлетворяет никакая достигнутая точность. Он в нарастающем темпе требовал данных о состоянии ракеты, не учитывая ни пределов своих собственных возможностей, ни пропускной способности внешних каналов. Почему он так действовал, я не знаю. Но действовал он именно так. Больше мне нечего сказать.

Никто из «марсиан» не откликнулся. Пиркс подметил довольный блеск в глазах Сейна и молчаливое удовлетворение Романи, который шевельнулся на стуле. Спустя восемь минут снова заговорил ван дер Войт. На этот раз он обращался не к Пирксу. Обращался он и не к комиссии. Он был само красноречие. Он обрисовал путь, который должен пройти каждый компьютер – от ленты конвейера до рулевой рубки корабля.

Агрегаты монтировались из деталей, поставляемых восемью различными фирмами – японскими, французскими и американскими. С первозданной памятью, «ничего не знающие», как новорожденные младенцы, они прибывали в Бостон, где комбинат «Синтроникс» осуществлял их программирование. Вслед за этим этапом каждый компьютер проходил процедуру, которая является в известной мере эквивалентом школьного обучения, поскольку она предусматривает и снабжение машины некоторым

«опытом», и проведение «экзаменов». Но так проверялась лишь общая исправность машины; «специализированные занятия» начинались на следующем этапе. Только тут компьютер из универсальной цифровой машины становился рулевым для кораблей типа «Ариэля». И наконец его подключали на рабочее место к имитатору, который воссоздавал бесчисленные происшествия, какие сопутствуют космическому полету: непредвиденные аварии, дефекты в системах; ситуации, когда маневрирование затруднено, в том числе при неисправности тяговых агрегатов; появление на близкой дистанции других кораблей, посторонних тел. Причем каждое из этих имитируемых происшествий разыгрывалось в сотнях вариантов – то для нагруженного корабля, то для пустого, то в высоком вакууме, то на входе в атмосферу. И постепенно ситуации усложнялись – вплоть до самых трудных проблем теории многих тел в гравитационном поле; машину заставляли предвычислять их движение и прокладывать безопасный курс для своего корабля.

Имитатором служил также компьютер, выполнявший роль экзаменатора, и притом коварного; он как бы обрабатывал, совершенствовал программу, которая была ранее вложена в «ученика», испытывал его на выносливость и точность. И когда электронного рулевого наконец устанавливали на ракете, то он, хоть на самом деле еще ни разу и не водил корабля, располагал большим опытом, более высоким профессиональным мастерством, чем все вместе взятые люди, когда-либо имевшие дело с космической навигацией. Ведь такие трудные задачи, которые компьютеру приходилось решать в имитированной обстановке, никогда не встречаются в действительности. А чтобы на сто процентов исключалась всякая возможность для несовершенной машины проскочить через этот последний фильтр, надзор за работой пары «рулевой – имитатор» осуществлял человек, опытный программист, который вдобавок должен был иметь многолетний стаж практического пилотирования, причем «Синтроникс» не приглашал на эту ответственную должность просто пилотов: тут работали только космонавты в ранге выше навигатора, то есть такие, у которых на личном счету было больше тысячи часов главных процедур. Таким образом, на последней инстанции от этих людей зависело, каким тестам из неисчерпаемого их набора будет подвергнут очередной компьютер; специалист определял степень трудности задания и, орудуя имитатором, дополнительно усложнял «экзамен», потому что имитировал по мере решения задачи всякие опасные неожиданности; спад мощности, расфокусировку тяги, ситуацию столкновения, пробой внешней оболочки, потерю связи с диспетчерской во время посадки, – и не прекращал экзаменов, пока не набиралось сто часов стандартных испытаний. Экземпляр, который обнаружил бы за это время хоть малейшую неисправность, отправили бы обратно в мастерские – как плохого ученика, которого оставляют на второй год.

Ван дер Войт этим своим славословием поставил продукцию Верфей выше всяких подозрений; желая, видимо, сгладить впечатление от такой безоговорочной защиты, он, изъясняясь красиво построенными периодами, попросил членов комиссии бескомпромиссно расследовать причины катастрофы.

Затем заговорили земные специалисты – и проблема тотчас же утонула в половодье ученой терминологии. На экранах появились принципиальные и монтажные схемы, формулы, чертежи, таблицы, и Пиркс, столбенея, увидел, что они нашли самый верный способ превратить всю историю в запутанный теоретический казус.

После главного информаниста выступил расчетчик. Пиркс вскоре перестал его слушать.

Его совсем не интересовало, выйдет ли он победителем из очередной стычки с ван дер Войтом, если такая стычка последует. А это казалось, кстати, все менее правдоподобным: о его выступлении никто не упомянул, словно это была бестактная выходка, о которой следует поскорее забыть.

Следующие ораторы забрались уже на самую верхотуру общей теории управления. Пиркс вовсе не подозревал их в злом умысле; они попросту благо разумно не покидали почву, на которой чувствовали себя уверенно, а ван дер Войт сквозь дым сигары важно и одобрительно их выслушивал, ибо произошло то, к чему он стремился: первенство в совещании захватила Земля и «марсиане» оказались в роли пассивных слушателей. Да у них ведь и не было в запасе никаких сенсационных открытий. Компьютер «Ариэля» превратился в электронный щебень, исследование которого не могло дать никаких результатов. Ленты в общих чертах обрисовывали, что произошло, но не объясняли, почему это произошло. Они не описывают всего, что происходит в компьютере, – для этого понадобился бы еще один компьютер, больших размеров. А если принять, что и он может допустить ошибку, то следовало бы этого контролера в свою очередь контролировать, и так до бесконечности.

Словом, выступавшие углубились в дебри аналитических абстракций. Глубина их высказываний затемняла тот элементарный факт, что катастрофа не сводилась только к гибели «Ариэля». Автоматы так давно переняли на себя стабилизацию гигантских кораблей при посадке на планеты, что это стало фундаментом, незыблемой почвой всех расчетов, а эта почва вдруг ушла из-под ног. Ни один из менее надежных и более простых компьютеров никогда еще не ошибался – как же мог ошибиться компьютер более совершенный и надежный? Если это было возможно, то возможным становилось все. Сомнение, однажды возникнув, уже не могло ограничиться проблемой надежности автоматов. Все утопало в сомнениях. А тем временем «Арес» и «Анабис» приближались к Марсу.

Пиркс сидел словно в полном одиночестве; он был близок к отчаянию. Дискуссия уже превратилась в классический спор теоретиков, который все дальше уводил их от происшествия с «Ариэлем». Глядя на массивное обрюзгшее лицо ван дер Войта, благодушно шефствовавшего над совещанием, Пиркс думал, что он похож на Черчилля в старости – этой кажущейся рассеянностью, которой противоречило легкое подрагивание губ, отражающее внутреннюю улыбку в ответ на мысль, укрытую за тяжелыми веками. То, что еще вчера казалось невыносимым, сегодня становилось вполне вероятным: попытка подвести совещание к выводу, в котором всю вину свалили бы на стихию (возможно, на какие-то еще неизвестные феномены природы или на пробел и самой теории), и к заключению, что надо будет предпринять долголетние широко развернутые исследования.

Пиркс знал аналогичные, хотя и меньшие по масштабу, истории и понимал, какие силы привела в движение эта катастрофа; за кулисами уже всю старались добиться компромисса, тем более что Проект, находящийся в столь угрожаемом положении, склонен был ко многим уступкам, чтобы получить помощь, а как раз Объединенные верфи могли оказать помощь: например, дать Проекту на приемлемых условиях флотилию небольших кораблей для обеспечения поставок. А если речь пойдет о такой высокой ставке – собственно говоря, о жизни или смерти Проекта, – то гибель «Ариэля» окажется устранимым препятствием, раз уж нельзя безотлагательно выяснить ее причины. И не такие дела частенько удавалось затушевать.

Однако в этом случае у Пиркса был козырь. Земляне его приняли, им пришлось согласиться, чтобы он участвовал в комиссии, поскольку он был здесь единственным человеком, прочно связанным с экипажами ракет. Он не питал иллюзий: речь вовсе не шла о его репутации или о степени компетентности. Просто комиссии был совершенно необходим хоть один настоящий космонавт, профессионал, который только что сошел с палубы корабля.

Ван дер Войт молча курил сигару. Он благоразумно помалкивал и потому казался всеведущим. Он наверняка предпочел бы видеть кого-нибудь другого на месте Пиркса, но нелегкая принесла сюда именно Пиркса, и не находилось благовидного предложения, чтобы от него избавиться.

Ведь если бы Пиркс при расплывчатом заключении комиссии подал свое особое мнение, это получило бы широкую огласку. Пресса вынюхивает скандалы, она только и ждет такой okazji. Союз пилотов и «Клуб перевозчиков» не представляли собой какой-то реальной силы, но все же от них многое зависело – ведь именно эти люди рисковали головой. Поэтому Пиркс не удивился, услышав во время перерыва, что ван дер Войт хочет с ним поговорить.

Ван дер Войт знал с видными политиками; он начал разговор с шуточного заявления, что это, дескать, встреча на самом высоком – межпланетарном! – уровне. Пирксом иногда руководили импульсы, которым он сам впоследствии дивился. Ван дер Войт курил сигару и смачивал себе глотку пивом, и Пиркс попросил, чтобы ему принесли бутербродов из буфета. Так что он слушал генерального директора, сидя в помещении связистов и жуя бутерброды. Ничто не могло их лучше уравнять.

Ван дер Войт словно бы понятия не имел, что у них недавно была стычка. Ничего подобного просто никогда не происходило. Он разделял беспокойство Пиркса за судьбу экипажей «Анабиса» и «Ареса» и делился с ним своими заботами. Его возмущала безответственность прессы, ее истерический тон. Он просил Пиркса в случае надобности составить небольшую докладную записку по вопросу о предстоящих посадках: что можно сделать для повышения их безопасности. Он разговаривал так доверительно, что Пиркс через некоторое время извинился перед ним и, высунув голову за дверь кабины, попросил, чтобы ему принесли рыбного салата... Ван дер Войт с истинно отеческой заботой ласково басил с экрана, а Пиркс неожиданно задал вопрос:

– Вы говорили о специалистах, контролирующих имитацию. Кто они, как их зовут?

Ван дер Войт через восемь минут удивился, но лишь на мгновение.

– Наши «экзаменаторы»? – он широко улыбнулся. – Да это все ваши коллеги, командор. Минт, Стернхайн и Корнелиус. Старая гвардия... мы отобрали для «Синтроникса» самых лучших, каких только могли сыскать. Вы их, конечно, знаете!

Больше им не удалось поговорить, потому что совещание возобновилось. Пиркс написал записку и передал ее Хойстеру с пометкой: «Очень срочно и очень важно». Председательствующий тут же прочел вслух эту записку, адресованную руководству Верфей. Там было три вопроса:

1. На каком принципе строится посменная работа главных имитационных контролеров Корнелиуса, Стернхайна и Минта?

2. Несут ли контролеры ответственность и какую именно, если они проглядят неправильные действия либо какие-то другие погрешности в работе испытуемого компьютера?

3. Кто конкретно проводил испытания компьютеров «Ариэля», «Ареса» и «Анабиса»?

Это вызвало волнение в зале. Пиркс совершенно недвусмысленно подкапывался под самых близких ему людей – почтенных, заслуженных ветеранов космонавтики!

Земля, точнее дирекция Верфей, подтвердила получение вопросов; ответ обещали дать минут через пятнадцать.

Пиркс сидел огорченный и озабоченный. Нехорошо получилось, что он добывает информацию таким официальным путем. Он рискует вызвать всеобщую неприязнь; да и позиции его в этом деле могут пошатнуться, если дойдет до подачи «особого мнения». Разве то, что Пиркс попытался повернуть расследование от чисто технических вопросов к конкретным людям, нельзя истолковать как подчинение нажиму ван дер Войта? А генеральный директор, усмотрев в этом пользу для Верфей, немедленно потопил бы Пиркса, сделав соответствующие намеки репортерам. Бросил бы его на съедение прессе как неуклюжего пособника...

Но Пирксу ничего не оставалось, кроме этого выстрела наугад. Добывать информацию неофициально, окольными путями не хватало времени. Да и не было у него никаких определенных подозрений. Чем же он тогда руководствовался? Довольно туманными представлениями о том, что опасности таятся не в людях и не в автоматах, а на стыке, там, где люди вступают в контакт с автоматами, ибо мышление людей так ужасающе отличается от мышления автоматов. И еще чем-то, что он вынес из минут, проведенных у полки со старинными книгами, и чего не смог бы отчетливо выразить.

Вскоре пришел ответ: каждый контролер вел свой компьютер от начала до конца испытаний; ставя свою подпись на документе, носившем название «аттестата зрелости», он брал на себя ответственность за любые упущения. Компьютер «Анабиса» испытывал Стернхайн, оба остальных – Корнелиус.

Пирксу захотелось уйти из зала, однако он не мог себе этого позволить. Он и без того уже чувствовал, как нарастает напряженность.

Заседание кончилось в одиннадцать. Пиркс притворился, что не замечает знаков, которые подавал ему Романи, и ушел поскорее, будто спасаясь бегством. Запершись в своей каморке, он рухнул на койку и уставился в потолок.

Минт и Стернхайн не в счет. Значит, остается Корнелиус. Человек с рационалистическим и научным складом ума начал бы с вопроса: что же такое, собственно, мог прозевать контролер? Неизбежный ответ: «Абсолютно ничего!»

– сразу перекрыл бы эту дорогу для расследования. Но Пиркс не обладал научным складом

ума, так что этот вопрос ему и в голову не пришел. Не пробовал он также размышлять о процедуре испытаний компьютера, будто зная, что и тут ничего не добьется. Думал он просто о Корнелиусе – о таком, каким он его знал, – а знал его Пиркс неплохо, хотя расстались они много лет назад. Относились они тогда друг к другу неважно, чему удивляться не приходилось, поскольку Корнелиус был на «Гулливере» командиром, а Пиркс – младшим навигатором. Однако отношения у них сложились хуже, чем это обычно бывает в таких ситуациях, потому что Корнелиус был просто помешан на точности и обстоятельности. Его авали Мучилой, Педантом, Скопидомом и еще Мухобоем, потому что он мог отправить половину команды на охоту за мухой, обнаруженной на корабле. Пиркс улыбался, вспоминая эти восемнадцать месяцев под началом у Педанта Корнелиуса; теперь-то он мог улыбаться, а тогда из себя выходил. До чего же нудный тип был Корнелиус! Однако его имя упоминается в энциклопедиях – в связи с исследованием внешних планет, особенно Нептуна.

Маленький, серолицый, он вечно злился и от всех ожидал подвоха. Когда он рассказывал, будто вынужден лично обыскивать всю свою команду, чтобы они не протаскивали мух на корабль, ему никто не верил, но Пиркс-то знал, что это не выдумки. Дело было, конечно, не в мухах, а в том, чтобы досадить старику. У него в каюте всегда имелась коробка ДДТ; он способен был застыть среди разговора, подняв палец (горе тем, кто не замирали ответ на этот знак) и прислушиваясь к тому, что принял за жужжание. В карманах он носил отвес и складной метр; когда он контролировал погрузку, это походило на осмотр места катастрофы, которая, правда, еще не произошла, но явно близится. Пиркс будто снова услышал крик: «Мучила идет, скрывайся!», после которого кают-компания пустела; он вспомнил странный взгляд Корнелиуса – его глаза словно бы не принимали участия в том, что он говорил или делал, а сверлили все вокруг, выискивая места, не полностью приведенные в порядок. У людей, что проводят в космосе десятки лет, накапливаются чудачества, но Корнелиус был рекордсменом по этой части. Он терпеть не мог, чтобы кто-нибудь стоял у него за спиной; если он случайно садился на стул, на котором только что сидел кто-то другой, то, ощутив это по теплоте сиденья, вскакивал как ошпаренный. Он был из тех людей, при виде которых невозможно себе представить, как они выглядели в молодости. Лицо его вечно выражало угнетенность, вызванную несовершенством всех окружающих; он страдал от того, что не мог обратить их в свою религию педантизма. Тыкая пальцем в колонки отчета, он по двадцать раз подряд проверял...

Пиркс замер. Потом поднялся и сел на койке – медленно, осторожно, будто он сделался стеклянным. Мысли, пробегая по хаосу воспоминаний, вслепую задели за что-то, и оно откликнулось, словно эхо тревоги. Но что это было, собственно? Что Корнелиус не выносил, чтоб стояли у него за спиной? Нет. Что он изводил подчиненных? Ну и что? Ничего. Но это уже вроде бы ближе. Пиркс чувствовал себя как мальчишка, который молниеносно сжал руку в кулак, чтобы поймать жука, и смотрит теперь на кулак, боясь его разжать. Не надо торопиться. Корнелиус славился своим пристрастием к соблюдению всяческих формальностей («Может это?» – Пиркс для проверки придержал ход мысли). Когда сменялись инструкции, правила, все равно какие, Корнелиус запирался с официальным документом у себя в каюте и не выходил оттуда, пока не вызубрит его наизусть. (Теперь это было похоже на игру в «жарко – холодно». Он чувствовал, что сейчас удаляется...) Расстались они девять, нет – десять лет назад. Корнелиус как-то внезапно и странно исчез – на вершине

известности, которую принесло ему исследование Нептуна. Говорили, что он еще вернется на корабль, что космонавигацию преподает только временно, но он не вернулся. Дело понятное – Корнелиусу было уже под пятьдесят... (Опять не то.) Аноним. (Это слово всплыло неизвестно откуда.) Анонимка? Какая еще анонимка? Что Корнелиус болен и симулирует здоровье? Что ему грозит инфаркт?.. Да нет же. Анонимка – это совсем другая история, это было с другим человеком – с Корнелиусом Крэггом; тут Корнелиус – имя, а там – фамилия. (Перепутал он их, что ли?) Да. Но анонимка не хотела уходить. Странно – он не мог отцепиться от этого слова. Он все энергичней его отбрасывал, а оно со все более идиотской навязчивостью возвращалось.) Пиркс сидел съезжившись. В голове – вязкая тина. Анонимка. Аноним. Теперь он был уже почти уверен, что это слово заслоняет собой какое-то другое. Бывает такое: выпадет ложный знак, и нельзя ни отделаться от пего, ни отделить его от той сути, которую он скрывает.

Пиркс встал. Он помнил, что на полке между «марсианскими» книгами стоял толстый словарь. Он открыл том наугад, на «Ан». Ана. Анакантика. Анакластика. Анаконда. Анакруза. Анаклета. (Вот ведь сколько всяких слов не знаешь...) Анализ, аналогия, ананас. Ананке (греч.): богиня судьбы. Это?.. Но что же общего имеет богиня с... Также: принуждение.

Пелена с глаз упала. Он увидел белый кабинет, спину врача, стоявшего у телефона, открытое окно и бумаги на столе, шевелящиеся от ветерка. Он вовсе не старался прочесть машинописный текст, но глаза сами уцепились за печатные буквы: он еще мальчишкой настойчиво учился читать тексты, перевернутые вверх ногами. «Уоррен Корнелиус; диагноз: ананкастический синдром». Доктор заметил разбросанные бумаги, собрал их и спрятал в портфель. Разве он тогда не поинтересовался, что означает этот диагноз? Наверное, но поскольку понимал, что ведет себя неэтично, постарался потом об этом забыть. Сколько лет прошло с тех пор? Минимум шесть.

Он отложил словарь – взволнованный, возбужденный, но смоее с тем разочарованный. Ананке – принуждение; значит, наверное, невроз навязчивых состояний.

Невроз навязчивых состояний. Он об этом прочел все, что было возможно, еще мальчишкой, – была такая семейная история, он хотел понять, что это означает... Память, хоть и не без сопротивления, все же выдавала информацию. Уж что-что, а память у Пиркса была хорошая. Возвращались фразы из медицинской энциклопедии, словно вспышки озарений, ибо они сразу налагались на образ Корнелиуса. Пиркс видел его теперь совершенно иначе. Это было зрелище конфузное и вместе с тем печальное. Так вот почему Корнелиус по двадцать раз в день мыл руки и не мог не гоняться за мухами, и бесился, когда у него пропадала закладка для книги, и запирал свое полотенце на ключ, и не мог сидеть на чужом стуле. Одни навязчивые действия порождали другие, и Корнелиуса все плотнее обволакивала их сеть, и он становился посмешищем. В конце концов это заметили врачи. Корнелиуса списали с корабля. Пиркс напряг память, и тогда ему показалось, что в самом низу страницы были три слова, напечатанные вразбивку: «К полетам непригоден». А поскольку психиатр не разбирался в компьютерах, он разрешил Корнелиусу работать в «Синтрониксе». Наверно, подумал, что это и есть идеальное место для такого придиры. Сколько возможностей блеснуть педантичной аккуратностью! Корнелиуса это, надо полагать, воодушевило. Работа важная и полезная, а самое главное – теснейшим

образом связанная с космонавтикой...

Пиркс лежал, уставившись в потолок, и ему даже не приходилось особенно напрягаться, чтобы представить себе Корнелиуса в «Синтрониксе». Что он там делал? Контролировал имитаторы, когда те давали задания корабельным компьютерам. То есть усложнял им работу, учил их уму-разуму, а это была его стихия, это он умел делать, как никто. Корнелиус, должно быть, все время боялся, что его в конце концов сочтут сумасшедшим, хотя сумасшедшим он не был. В ситуациях подлинно критических Корнелиус никогда не терял головы. Он был энергичен и решителен, но в повседневных условиях эту его энергию и решимость постепенно разъедали навязчивые идеи. Он, наверное, чувствовал себя между экипажем корабля и выкрутасами своей психики словно между молотом и наковальней. Он выглядел страдальцем не потому, что был сумасшедшим и подчинялся этим своим внутренним приказам, а именно вот потому, что боролся с ними и неустанно изыскивал всяческие претексты, оправдания, цеплялся за инструкции, стараясь оправдаться ссылкой на них – что это отнюдь не он придумал, не он ввел эту бесконечную муштру. Душа у него была не капральская, иначе не стал бы он читать Эдгара По и всякие жуткие и необычайные истории. Может, он искал в этих книгах отражение своего внутреннего ада? Это ведь подлинный ад – чувствовать у себя внутри сложную сеть жестких, словно проволока, приказов, какие-то преграды, торчащие повсюду, будто жерди, какие-то заранее вычерченные пути – и непрестанно со всем этим бороться, подавлять это снова и снова... В основе всех его действий был страх, что случится нечто непредвиденное. К этому-то он все время и готовился, из-за этого он всех тренировал, муштровал, школил; отсюда его вечные учебные тревоги, обходы, проверки, бессонные блуждания по всему кораблю... Господи боже, он ведь знал, что над ним исподтишка смеются; может, он даже и понимал, до чего все это бесполезно. Можно ли предположить, что он как бы вымещал все свои страхи на компьютерах «Синтроникса», когда гонял их до изнеможения? Если даже так и было, он, вероятно, не отдавал себе в этом отчета. Он убедил себя, что именно так и должен поступать.

Удивительно: стоило Пирксу изложить события, которые он раньше воспринимал как серию анекдотов, на языке медицинских терминов – и события эти обрели иной смысл. Он мог заглянуть в их недра при помощи отмычки, которую предоставляет психиатрия. Механизм чужой индивидуальности открывался – обнаженный, упрощенный, сведенный к горсточке жалких рефлексов, от которых никуда не денешься. Мысль о том, что врач может именно так рассматривать людей, хотя бы и с целью им помочь, показалась ему до невероятия отталкивающей. Но одновременно исчез отсвет шутовства, паясничанья, который тусклым ободком окружал воспоминания о Корнелиусе. При этом новом, неожиданном видении событий не оставалось места для плутоватого, недоброго юмора, который рождается в школах, казармах и на палубах кораблей. Ничего смешного не было в Корнелиусе.

Работа в «Синтрониксе»... Казалось бы, она идеально подходит такому человеку: здесь надо нагружать, требовать, усложнять до пределов возможностей. Корнелиус наконец-то мог дать волю своим подавленным стремлениям. Непосвященным казалось, что это великолепно: старый практик, опытный навигатор передает свои обширные познания автоматам; что же может быть лучше? А Корнелиус теперь имел рабов и не обязан был сдерживаться, поскольку они не были людьми.

Компьютер, сходящий с конвейера, – все равно что новорожденный: он тоже способен научиться всему и не знает пока ничего. Процесс учебы ведет к возрастанию специализации и утрате исходной недифференцированности. На испытательном стенде компьютер играет роль мозга, тогда как имитатор выполняет функции тела. Мозг, подключенный к телу, – вполне подходящая аналогия.

Мозг должен знать о состоянии и степени готовности каждой мышцы; точно так же компьютер должен иметь информацию о состоянии корабельных агрегатов. Он отправляет по электронным путям тысячи вопросов, словно швыряет тысячи мячиков сразу во все закоулки металлического гиганта, по отзвукам эха создавая для себя образ ракеты и того, что ее окружает. И в эту надежную, безошибочную систему вторгся человек, который болезненно страшится неожиданного и преодолевает этот свой навязчивый страх при помощи неких ритуальных действий. Имитатор стал орудием реализации этих болезненных страхов. Корнелиус действовал в духе верховного принципа – обеспечения безопасности. Разве это не могло казаться похвальным усердием? Как он, должно быть, старался! Нормальный ход работы он вскоре счел недостаточно надежным. Чем сложнее ситуация, в которой оказался корабль, тем быстрее следует о ней информировать. Корнелиус полагал, что темп проверки агрегатов должен зависеть от значимости процедуры. А поскольку наибольшее значение имеет процедура посадки... Он изменил программу? Вовсе нет; ведь шофер, который вздумает проверять двигатель ежечасно, а не ежедневно, может при этом строго соблюдать правила движения. Поэтому программа не могла воспрепятствовать действиям Корнелиуса. Он целился в том направлении, где программа не имела защиты, потому что

этакоене могло прийти в голову ни одному программисту. Если компьютер от такой перегрузки разлаживался, Корнелиус отправлял его обратно в технический отдел.

Понимал он, что заражает компьютеры навязчивыми идеями? Вряд ли; он был практиком, в теории ориентировался плохо; он с педантичной скрупулезностью сомневался во всем, бесконечно проверял все; в этом же духе он проводил испытания машин. Он, конечно, перегружал компьютеры – ну, и что же?.. Они ведь не могли пожаловаться. Это были новые модели, поведением похожие на шахматистов. Игрок-компьютер победит любого человека – при условии, что его учителем не будет кто-то вроде Корнелиуса. Компьютер предвидит замыслы противника на два-три хода вперед; если б он пытался предвидеть на десять ходов вперед, его бы задушил избыток возможных вариантов, ибо их количество растет по экспоненте. Чтобы предвидеть десять очередных ходов на шахматной доске, пришлось бы оперировать девятизначными числами. Такого самопарализующегося шахматиста дисквалифицировали бы на первом же состязании. На борту корабля это сначала не было заметно:

можно наблюдать лишь входы и выходы системы, а не то, что происходит внутри нее. Внутри нарастала толчея, снаружи все шло нормально – до норы до времени. Вот так он их и дрессировал – и эти подвиги человеческого разума, которые едва справлялись с реальными заданиями, потому что Корнелиус создал уйму фиктивных, стали рулевыми на стотысячниках. Любой из этих компьютеров страдал ананкастическим синдромом: вынужденное повторение операций, усложнение простых действий, попытки учесть «все сразу». Компьютеры, конечно, не наследовали страхов Корнелиуса, они лишь воссоздавали структуру свойственных ему реакций. Парадокс заключался в том, что именно повышенная емкость этих новых, усовершенствованных моделей способствовала катастрофе; ведь эти компьютеры могли функционировать очень долго, пока информационная перегрузка постепенно не выводила из строя их контуры. Но когда «Ариэль» опускался на космодром Агатодемона, какая-то

последняя капля переполнила чашу. Возможно, ее роль сыграли первые порывы урагана – на них надо было молниеносно реагировать, а компьютеру, заблокированному информационной лавиной, которую он сам же и вызвал, уже нечем было управлять. Он перестал быть устройством реального времени, не поспевал уже моделировать реальные события – его захлестывали вымышленные... Перед ним была огромная масса – диск планеты, и программа не позволяла ему попросту отказаться от начатой процедуры, а между тем продолжать ее он уже не мог. Поэтому он интерпретировал планету как метеор, идущий курсом пересечения, – это была для него последняя лазейка, только эту единственную возможность допускала программа. Он не мог сообщить об этом людям и рулевой рубке, ведь он же не был мыслящей личностью! Он до конца считал, взвешивал шансы: столкновение означало несомненную гибель, бегство оставляло два-три шанса из сотни; поэтому он и избрал бегство – аварийный старт!

Все это выстраивалось логично, однако совершенно без доказательств. Никто до сих пор не слышал о таких случаях. Кто мог подтвердить эти предположения? Наверное, психиатр, который лечил Корнелиуса и, возможно, вылечил, а возможно, только разрешил ему заниматься этой работой. Но врач ничего не скажет из соображений врачебной тайны. Нарушить ее можно было бы лишь по решению суда. А тем временем «Анабис» через шесть дней...

Оставался Корнелиус. Догадывался ли он? Понимал ли теперь, после того, что произошло?.. Пиркс не смог поставить себя на место старого командира. Словно стеклянная стена безнадежно преграждала путь. Если у Корнелиуса и возникли какие-то сомнения, он их сам себе не выскажет. Он будет изо всех сил противиться таким выводам – это, пожалуй, ясно...

Но ведь это дело все равно откроется – после очередной катастрофы. Если вдобавок «Арес» сядет благополучно, то простейшая выкладка – подпели те компьютеры, за которые отвечает Корнелиус, – наведет подозрения на старого командира. Начнут исследовать с пристрастием все детали и по нитке доберутся до клубка. Но ведь нельзя же сидеть да ждать сложа руки! Что делать? Это он отлично знал: надо стереть всю компьютерную память «Анабиса», передать по радио исходную программу; корабельный информационник управится с этим за несколько часов.

Но чтобы говорить о таких вещах, нужно иметь доказательства. Хотя бы одно! На худой конец – хоть косвенные улики, хоть какой-то след, а у Пиркса ничего не было. Всего только воспоминание многолетней давности о какой-то истории болезни, о нескольких строках, вдобавок прочитанных вверх ногами... Прозвища и слушки... анекдоты о Корнелиусе... реестр его чудачеств. Невозможно с этим выступать перед комиссией.

Важнее всего был «Анабис». Пиркс обдумывал уже полубредовые проекты: если нельзя это сделать официально, так, может, ему надо стартовать на своем «Кювье», чтобы с борта корабля послать «Анабису» предостережение и результаты своего мысленного расследования? О последствиях думать не стоит... Нет, это уж слишком рискованно. С командиром «Анабиса» он не знаком. А сам он разве послушался бы чужих советов, основанных на таких гипотезах? При полнейшем отсутствии доводов? Сомнительно...

Остается, значит, только сам Корнелиус. Адрес его известен: Бостон, комбинат «Синтроникс». Но как же можно требовать, чтобы такой недоверчивый, дотошный, педантичный человек признался, что совершил то, чему силился противодействовать всю свою жизнь? Может, после беседы с глазу на глаз, после долгих увещеваний, напоминаний об угрозе, нависшей над «Анабисом», Корнелиус согласился бы, что надо послать предостережение кораблю, и сам обосновал бы это предостережение – он ведь честный человек. Но в разговоре, который с восьмиминутными паузами ведется между Марсом и Землей, когда ты обращаешься к экранам, а не к живым собеседникам, взвалить такое обвинение на беззащитного человека и требовать, чтобы он признался в убийстве – хоть и неумышленном – тридцати человек? Невообразимо!

Пиркс все сидел на койке, плотно сплетя пальцы, словно для молитвы. Он безмерно дивился, что это возможно: настолько все знать и настолько ничего не мочь! Он обвел взглядом книги на полке. Их авторы помогли ему – помогли своим поражением. Все они потерпели поражение, ибо спорили о каналах, о том, что якобы наблюдали на далеком пятнышке сквозь стекла телескопов, а не о том, что было в них самих. Они спорили о Марсе, которого не видали, а видели они глубины собственного разума, который порождал героические и роковые образы. Они проецировали свои мечты в космическую даль, вместо того чтобы задуматься о самих себе. Так и в этом случае: каждый, кто забирался в дебри теории компьютеров и там искал причины катастрофы, удалялся от сути дела. Компьютеры были невиновны и нейтральны, так же как и Марс, которому сам Пиркс предъявлял какие-то бессмысленные претензии, словно мир несет ответственность за те миражи, которые пытается ему навязать человек. Но эти старые книги уже сделали все, что могли. Пиркс не видел выхода.

На самой нижней полке была и беллетристика; среди разноцветных корешков виднелся выцветший голубоватый томик Эдгара По. Значит, и Романи его читает? Сам Пиркс не любил По – за искусственность языка, за вычурность фантазии, которая не хочет сознаться, что ее породили сновидения. Но для Корнелиуса это была почти что библия. Пиркс бездумно вытащил книгу, она сама раскрылась на оглавлении, и название одного из рассказов просто ошеломило его. Однажды после вахты Корнелиус дал Пирксу томик Эдгара По и особенно расхваливал этот рассказ – о том, как избличили убийцу фантастически изоощренным, неправдоподобным способом. Потом Пирксу еще пришлось лицемерно хвалить рассказ – известное дело, командир всегда прав...

Идея, вдруг осенившая Пиркса, вначале показалась ему просто занятой; потом он начал понемногу примериваться к ней. Она слегка походила на студенческий розыгрыш и одновременно – на подлый удар в спину. Выглядит это дико, несуразно, жестоко, но – кто знает? – именно в такой ситуации может подействовать. Послать телеграмму из четырех слов. Возможно, эти подозрения – сплошной бред; Корнелиус, чью историю болезни видел Пиркс, – совсем другой человек, а этот Корнелиус тренирует компьютеры в строгом соответствии с правилами и никакой вины за собой чувствовать не может. Получив такую телеграмму, он пожмет плечами и подумает, что его бывший подчиненный позволил себе идиотскую шутку, в высшей степени омерзительную, но больше уж ничего не подумает и ничего не сделает.

Но если весть о катастрофе пробудила в нем тревогу, неясные подозрения, если он уже

начинает понемногу догадываться о своей причастности к трагедии и противится этим догадкам, тогда четыре слова телеграммы как громом поразят его. Он мгновенно почувствует, что его целиком и полностью уличили в том, чего он сам себе не решился отчетливо сформулировать, и что он виновен. Он уже не сможет отделаться от мыслей об «Анабисе» и о том, что его ждет; даже если он попробует обороняться от этих мыслей, телеграмма не даст ему покоя. Он не сумеет сидеть сложа руки, в пассивном ожидании; телеграмма будет жечь его, терзать его совесть – и что тогда? Пиркс достаточно знал его, чтобы понимать, – старик не обратится к властям, не даст показаний, но и не станет обдумывать, как лучше защищаться и как избежать ответственности. Если он признает себя ответственным, то, по сказав ни слова, сделает то, что сочтет необходимым.

А значит, нельзя так поступить. Пиркс еще раз перебрал все варианты – он готов был беседовать с самим дьяволом, добиваться разговора с ван дер Войтом, если бы такая беседа хоть что-нибудь сулила... Но никто не мог помочь. Никто. Все обстояло бы иначе, если б не «Анабис» и не эти шесть дней срока. Можно уговорить психиатров, чтобы они дали показания; можно пронаблюдать методы, которые применяет Корнелиус, тренируя компьютеры; можно проверить компьютер «Анабиса», но на все это уйдут недели. Так что же делать? Подготовить старика, послав ему какую-то весточку с предупреждением, что... Но тогда нее дело сорвется. Болезненная психика Корнелиуса найдет всякие увертки и контрдоводы – ведь даже у самого честного человека имеется инстинкт самосохранения. Корнелиус начнет защищаться или, скорее, будет на свой лад надменно молчать, а тем временем «Анабис»...

Пирксу казалось, что он куда-то проваливается. Все вокруг отвергало его, отбрасывало – как в рассказе По «Колодец и маятник», где мертвые стены миллиметр за миллиметром сжимаются вокруг незащитного узника, подталкивая его к пропасти... Что может быть беззащитней, чем беззащитность болезни, которая настигла кого-то, и именно поэтому его теперь ожидает подлый удар из-за угла? Что может быть подлей, чем такая подлость?

Бросить это дело? И молчать? Конечно, это было бы легче всего! Никто и не додумался бы, что у него в руках были все нити. После очередной катастрофы они сами нападут на след. Однажды начавшись, следствие в конце концов доберется до Корнелиуса и...

Но если это так и есть, если он не спасет старого командира даже своим молчанием, тогда он не имеет права молчать. Больше Пиркс ни о чем уже не думал, потому что начал действовать, словно избавившись от всяких сомнений.

Внизу было пусто; только в кабине лазерной связи сидел дежурный техник. Пиркс написал на бланке адрес: «Земля, США, Бостон, Корпорация „Синтроникс“, Уоррену Корнелиусу».

В тексте депеши было всего четыре слова: «Thou Art the Man» . К своей подписи Пиркс добавил: «Член комиссии по расследованию причин катастрофы „Ариэля“. Место отправления депеши: Марс, Агатодемон». Это было все. Он вернулся в комнату Романи и заперся там. Кто-то стучался потом в дверь, слышались голоса, но Пиркс не подавал признаков жизни. Он нуждался в одиночестве, потому что начались душевные терзания, как он и предвидел. С этим уж ничего нельзя было

поделать.

Поздней ночью он стал читать Скиапарелли, чтобы не представлять себе по сотне раз во всевозможных вариантах, как Корнелиус, приподняв полуседые щетинистые брови, берет телеграмму со штемпелем «Марс», как разворачивает шелестящую бумагу и отодвигает ее от дальнотзорных глаз. Пиркс читал, не понимая ни слова, а когда перелистывал страницу, его охватывало безмерное удивление, смешанное с каким-то ребяческим огорчением: «Неужели же это я? Я – я смог такое сделать?!»

Сомневаться не приходилось: Корнелиус попался в ловушку, как мышь; у него не оставалось свободного пространства, какого-то зазора для хотя бы малейших уверток; ситуация так сложилась, что не допускала уверток; поэтому он своим заостренным четким почерком набросал на листке бумаги несколько фраз, поясняя, что он действовал без злого умысла, но вину целиком принимает на себя, подписался и в три часа тридцать минут утра – через четыре часа после получения депеши – выстрелил себе в рот. В его записке не было ни слова о болезни, ни малейшей попытки самооправдания – ничего. Он словно бы одобрил поступок Пиркса лишь постольку, поскольку он помогал спасению «Анабиса», и решил принять участие в этом спасении – но больше ни в чем. Слово бы выразил Пирксу и деловое одобрение, и одновременно полнейшее презрение за коварно нанесенный удар.

Возможно, впрочем, что Пиркс ошибался...

Хоть это и выглядит несоразмерно событиям, Пиркса очень угнетал театрально-напыщенный стиль, в котором ему пришлось действовать. Он одолел Корнелиуса, пустив в ход Эдгара По и вообще действуя в стиле Эдгара По, хотя стиль этот претил ему, казался фальшивым; Пиркс полагал, что труп, окровавленным пальцем указывающий на убийцу, не отражает подлинного ужаса бытия. По его наблюдениям, ужас бытия проявлялся обычно в злобных издевках, а не в романтических сценах. Сопутствовал он и размышлениям Пиркса о том, как изменилась роль Марса в жизни людей по сравнению с предыдущей эпохой. Из недостижимого красноватого пятнышка на ночном небе, демонстрирующего полупонятные следы деятельности Иного Разума, Марс превратился в плацдарм обычной земной жизни, то есть изнурительной борьбы со стихией, закулисных политических сделок и всяческих интриг; он стал миром удручающих вихрей и пыльных бурь, вдребезги разбитых ракет и хаотической путаницы; местом, откуда можно было не только полюбоваться поэтически-голубым огоньком Земли, но и нанести смертельный удар человеку, живущему на Земле. Безупречный полуфантастический Марс давнишней ареографии исчез, оставив на память о себе лишь эти звучащие как формулы, как заклятия алхимиков греко-латинские названия мест, по которым теперь топали тяжелые башмаки. Безвозвратно утонула за горизонтом эпоха высоких теоретических споров и только в момент гибели явила свой истинный облик – мечты, которая питается своей неосуществимостью. Остался Марс реальный – с утомительной работой, экономическими расчетами и такими вот грязно-серыми рассветами, как тот, в который Пиркс появился в зале заседаний комиссии и представил свои доводы.